

The background of the cover is a blurred photograph. On the right side, the profile of a person with dark hair and glasses is visible, looking towards the left. The background consists of horizontal lines, likely the spines of books on a shelf, which are out of focus, creating a sense of depth and movement. The lighting is warm, with shades of brown and beige.

Анатолий Курчаткин

Полёт шмеля

роман

Анатолий Курчаткин

Полёт шмеля

«WebKniga»

2012

Курчаткин А.

Полёт шмеля / А. Курчаткин — «WebKniga», 2012

«Мастер!» – воскликнул известный советский критик Анатолий Бочаров в одной из своих статей, заканчивая разбор рассказа Анатолия Курчаткина «Хозяйка кооперативной квартиры». С той поры прошло тридцать лет, но всякий раз, читая прозу писателя, хочется повторить это определение критика. Герой нового романа Анатолия Курчаткина «Полёт шмеля» – талантливый поэт, неординарная личность. Середина шестидесятых ушедшего века, поднятая в воздух по тревоге стратегическая авиация СССР с ядерными бомбами на борту, и середина первого десятилетия нового века, встреча на лыжне в парке «Сокольники» с кремлевским чиновником, передача тому требуемого «отката» в виде пачек «зеленых» – это всё жизнь героя. Два повествовательных потока, исторический и современный, текут одновременно, рисуя для читателя ясный и выразительный портрет времени.

© Курчаткин А., 2012

© WebKniga, 2012

Содержание

1	5
2	15
3	24
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Анатолий Николаевич Курчаткин

Полёт шмеля

Он медленно сходил сума. Никогда еще не вел он такого странного существования.

Б. Пастернак. Доктор Живаго

Я многое опускаю, потому что очень тороплюсь. Прими, Господи, исповедь мою и благодарность, пусть и безмолвную, за бесчисленные дела Твои.

Блаженный Августин. Исповедь

1

Вот так и начинаешь понимать, что значат слова: «В наше время...» При чем здесь, вскипаяшь, «наше», я что, труп хладный, в сырой земле зарытый? Я – вот он, с руками-ногами, и даже не лыс, только борода подседела, не брюхаст, не рыхл, и Мистер Эрект в полном здравии, это и мое время, мое тоже! В ваши годы в двигателе не смыслишь ничего, только и можешь что крутить руль да жать на педали, выжать сто сорок км/час – это вы да, а когда у вас искра пропала и из-под капота пар повалил – вы что? что вы? что? чешете в недоумении свои репы и ко мне в ножки: ах, погляди, поковыряйся... сосунки, молокососы!

Но вот тебе понадобилось выжать эти самые сто сорок км. Которые прежде брал за самое малое число секунд, пусть даже и гололед – видали мы этот гололед! – и вдруг оказывается, взять-то сто сорок ты можешь, а держать... что-то дрожит в тебе, поекивает, и не боишься, а не получается держать сто сорок, и вот уже тащишься на разрешенных шестидесяти, тебе гудят, мигают подфарниками, тебя обгоняют и слева, и справа, в открытые окна летят матюги, в закрытые тебя факают выставленным средним пальцем, ты унижен, раздавлен, хочешь поднять скорость хотя бы немного, чуть-чуть, не ради скорости – чтобы себя в своих глазах поднять, но что такое? – нога не нажимает на педаль, убей тебя – не нажмет. Что из того, что ты понимаешь в устройстве двигателя, на дороге нужно мчать, давить на газ и держать скорость – вот что нужно на дороге. Ты жив, ты здоров, с руками-ногами, и только борода подседела, но что-то с тобой случилось, что-то изменилось в тебе – ты не пас, но уже и не ездок, сваливай на обочину и кукуй там, пока кому-то не понадобится поковыряться в его моторе. А не понадобится – так и тьфу на тебя, и утрись: это уже их время...

Ах, Боже мой, Боже мой, что за мысли лезут в голову. Хотя, конечно, понятно почему: потому что ты не можешь родить им нужный текст, три, четыре, пять строф, пять куплетов с припевом – таких, чтоб *зашибись*, чтоб *вставляло*. Куда что делось, ведь раньше раз-два – и готово, сел-присел – и уголек на-гора. Теперь хоть на голову встань – какая-то щепка древесная вместо угля, и столько ее надо пережевать в себе, переварить, пережечь, чтобы она превратилась в уголь, – кошмар. «Единогласия ради тысячи тонн словесной руды». Вот-вот, тысячи тонн, кто б знал, что это такое.

– Пospелыч, ты что, сдох, что ли? – вопрошает Ромка-клавишник.

Он меня всегда называет так – по фамилии, но переделанной под отчество. Осознанно или неосознанно, а скорее неосознанно-осознанно отделяя меня от них, подчеркивая, показывая мне: мы – это мы, это наше время, а ты, сэр, уже все, ты не наш.

– Что значит сдох? – будто не понял его, переспрашиваю я. – Ты что имеешь в виду?

И нарываюсь:

– То, что не прешь уже совсем. Лабуду какую гонишь, ты не врубаешься? Это же все, что ты принес, даже в размер не лезет!

– Не лезет, Пospелыч, не лезет, – выбивая на ляжках некий ритм, будто они у него ударная установка, подтверждает Маврикий – такое у него прозвище. Он уверяет, что, когда еще учился в школе и собирал марки, у него будто бы была первая почтовая марка острова Святого Маврикия, которой осталось в мире считаное число штук, а он, не зная истинной ценности марки, обменял ее на блок юбилейных советских марок, посвященных космонавтике. – И вообще, что за текст: «Жизнь хороша, когда тебя не кусает вша...»? Рэп какой-то. Как это петь, ты представляешь? Это же балаган!

– Какой балаган, – бормочу я. – Ирония такая. Оптимистическая даже.

– Ага, оптимистическая! – вскидывается Ромка-клавишник. И обегает всех общинческим взглядом, призывая присоединиться к его суждению. – Особенно когда там в конце о веревке. Очень оптимистично.

– Ну, это же не всерьез, – пытаюсь защититься я. – Это же все ирония.

– Да нет, что говорить, не то это все, не то. – Савёл, большей частью до того молчавший – только отдельные реплики из сплошных междометий, будто подводит итожащую черту.

Савёл – чиф, команданте, их Фидель Кастро, хотя его инструмент – всего лишь бас-гитара, слово Савёла – это приговор: до того намыливали веревку, теперь повесят.

Я, однако, еще пытаюсь трепыхаться; или не пытаюсь, а это, перед тем как обмякнуть, бьется в произвольных конвульсиях вздернутое на рею тело:

– Ребята, это как раз самое то! Серьез вашей группе не по формату, а вот такая маска трагической иронии – как раз для вашего нынешнего облика, клянусь!

– Да не клянись, – говорит Ромка-клавишник. – Ты сдох, Пospелыч. Ты ни строки путной выдать не можешь. Ни строки!

Он жесток, Ромка, он беспощаден; он на своих ста сорока снесет любого, кто оказался у него на пути, снесет – и помчит дальше, не сбавив скорости.

– Да, Лёнчик, – голос Савёла, в отличие от Ромки-клавишника, бархатно-нежен, так и кажется, Савёл сыплет мне под бок соломку, чтобы мое жесткое ложе стало помягче. – Давно ты нам ничего не выдавал. А нам сейчас что-то такое нужно... чтобы так и залудить в десятку. Вот вроде той твоей «Песенки стрелцов».

Он еще беспощадней Ромки, он настоящий садист, он коварен и изощрен в своем коварстве. Он прекрасно знает, что я терпеть не могу, когда их компания называет меня Лёнчиком, а ко всему тому я старше их на добрую четверть века, какой я им «Лёнчик», но он называет меня Лёнчиком.

– Ну, что вспомнил! – хриплю я с реи на последнем издыхании.

Его комплимент мне тоже полон садистского коварства.

С той моей «Песенки стрелцов», текст которой на излете советской власти неведомыми путями попал к ним, еще совсем зеленым, и началось наше сотрудничество. Без малого двадцать лет назад. Я и сам тогда, можно сказать, был еще молодым человеком. Что там, совсем немного за сорок...

– А чего «вспомнил», – не дает мне спокойно уйти в смертельную темноту Ромка, – Савёл правильно говорит. Лучше того текста ты ничего нам больше и не дал.

Тут Савёл заступает за меня – я не успеваю прохрипеть с реи ни звука:

– Нет, Роман, не скажи. И еще отличные были тексты.

Он, кроме того, что всех в группе называет полными именами (это меня можно «Лёнчиком», автор текстов – что-то вроде раба с галер), еще старается быть как бы и справедливым.

Ромка с Маврикием мгновенно соглашаются:

– Да, ты, конечно, прав. Были.

Смешно сказать, но теряющему сознание висельнику эта предсмертная похвала доставляет удовольствие.

– Да только мои тексты и были у вас приличные.

– Да уж только твои! Как себя ценишь! – спешат повиснуть на веревке всем своим весом Ромка с Маврикием, чтобы петля на шее наконец удавила меня.

Савёл лишь усмехается. Но в усмешке его – тот же смысл, что у Ромки с Маврикием.

Остаться в доме Савёла дальше нет никакого смысла.

– Ладно, – говорю я, поднимаясь с дивана, – не хотите – как хотите.

Меня не держат. Со мной все ясно, я свое отслужил, это их время, и пришельцы из прошлого тут не нужны.

Савёл разводит руками:

– Как хочешь, Лёничик.

Лицо его выражает почти искреннее сожаление. Лицедей. Потому он и чиф, команданте, что лицедей. Улыбка, которой он сопровождает выражение своего лица, выпускает наружу его заячьи зубы, но если бы кто сделал заключение о его натуре по этим зубам, он бы ошибся. Савёл не заяц. Натура у него волчья. Волк-лицедей.

Ромка с Маврикием не удостаивают меня даже словом прощания. Ждут, когда я двинусь, и молчат – как до того молчал Савёл. Какое прощание со вздернутым на рее.

Савёл поднимается со своего крутящегося табурета следом за мной.

– Я тебя провожу. А то не выедешь.

Это верно, не выеду. Ворота его усадьбы сами по себе меня не выпустят. Савёл должен разрешить им распахнуться передо мной. До его дома я не имел и понятия, что бывают такие ворота – открыться-закрыться простым нажатием кнопки на пульте, словно включаешь-выключаешь, гуляешь по каналам у телевизора. Савёл не просто волк-лицедей, он хват. Суметь отхватить гектар земли в этом районе банкиров и подобных им воротил крупного бизнеса! А и не просто отхватить, но и построить дом. Никто другой из их группы не может о таком и помыслить.

Студия у Савёла в пристройке, в нее есть отдельный вход, однако пользуется он им редко, и мы идем через дом. Мы проходим столовой, гостиной, заворачиваем – и оказываемся напротив двери на кухню. Кухня ярко освещена, она так и полыхает куском солнца, словно операционная, хирургическими инструментами позвякивают крышки кастрюль, посвистывает миксер – там под руководством жены Савёла домработница готовит ужин на всю компанию. Какая бы жена у Савёла ни была, когда у него люди, все непременно будут напоены и накормлены по-царски, тут надо отдать ему должное. Он знает, через что лежит путь к человеческому сердцу. А жена у него сейчас опять новая. Как только что сошедший с монетоделающей машины рубль – так и блеснит. Кажется, ей нет даже восемнадцати, и, когда стала жить у Савёла, у него были основательные неприятности с ее родителями. Которые, впрочем, он благополучно разрулил.

– Ой! – восклицает она, заметив с кухни наши силуэты и распознав в одном из них меня. – Вы что, Леонид Михайлович, уходите?

Она обращается ко мне на вы, непременно с отчеством и произнося отчество без сокращения: не «Михалыч», а вот так: «Михайлович». Я для нее столь глубокая древность, что сократить мое отчество – все равно что дотронуться до древнеегипетской мумии без перчаток.

– Ухожу, Танюша. Дела. Попируйте без меня, – говорю я со всею возможной галантностью, стараясь не позволить себе ни единой интонацией выказать своего состояния. Не столько ей, сколько ему, Савёлу. Они не увидят моего отчаяния. Не дождутся моих слез. Смотрите, смотрите, гады, как умирают русские офицеры!

– О-ой! – тянет жена Савёла. – Ну останьтесь, Леонид Михайлович... Я так люблю, когда вы за столом. Вы так интересно рассказываете!

Она не притворяется, она говорит правду, я ей верю. Древнеегипетская мумия интересно рассказывает о временах строительства пирамид. От кого еще в ее окружении услышишь об этом.

– Не могу. К сожалению. Должен идти, – вступив на полшага в солнечное сияние кухни, кланяюсь я. – Счастливо, Иветта Альбертовна, – кланяюсь я домработнице, кивающей мне от бьющей солнечным жаром плиты с такой лучезарной улыбкой – ослепительнее солнца, заливающего своим светом кухню.

Новенькой савёловской жене домработница, наверное, кажется старухой, немного отстоящей по времени рождения от поры египетских пирамид. На самом же деле ей всего чуть за сорок, и по всему ее поведению, по этой ее старательной ослепительно-лучезарной улыбке видно, что родители готовили ее совсем к иной судьбе. Да чего стоит одно имя. Разве, готовя к судьбе домработницы, дают такие имена. «И-вет-та». Надо же было откуда-то выкопать!

– Всего доброго, Леонид Михалыч! – отзывается на мой поклон счастливая деньгам, которые она получает у Савёла, держа в чистоте его дом и помогая новой жене исполнять свои обязанности хозяйки, домработница.

Я для нее уже не древнеегипетская мумия, а вполне себе живой, современный гражданин, просто родившийся на два десятка лет раньше.

Мы выходим с Савёлом в темноту. Правда, не совсем в темноту: крыльцо и вся площадка перед ним освещены мощной галогенной лампой – темнота стоит за пределами высвеченного ею пространства. Если бы вокруг лежал снег, как то положено по времени, было бы видно далеко вокруг, но снега нет, и за пределами освещенного пространства – темнота.

Она лопочет дождем; по металлической черепице крыльца над головой дождь стучит с ксилофонной звонкостью, а мокро блестящая площадка перед крыльцом, выложенная тротуарной плиткой, вся в шуршании вскипающих серебристых султанчиков. Что за зима нынче... Европа пришла к нам будто с заднего двора: ждали с ее культурой, законами, нравами, а она с климатом.

– Что за зима, – произносит Савёл. – Вот написал бы что-нибудь такое: дождь в декабре, она, он, на душе слякоть, но снег еще выбелит их жизнь, придет чистота, покой, а вслед за холодами настанет лето...

– Такие лирические сопли? – не могу удержаться я. – Или решили реформатироваться?

– А ты напиши, напиши, – не обращает внимания на мою подковырку Савёл. – Ты нас заведи текстом. Мы, если заведемся, и из соплей такого наворочаем!..

– Ну, о'кей. Заказ принят, – отвечаю я. Что ничего не значит. Не нужен им никакой текст про дождь. Это Савёл просто так. С высоты своей устроенности. Упакованности. Да и не напишу я такого. Я скептичен, а лирика и скепсис – две вещи несовместные. Как гений и злодейство, по Александру Сергеичу.

Дождь, едва крыша крыльца перестает меня защищать, тотчас проникает за шиворот, и, пока я вожусь с замком, открывая свое корыто, позвоночный желобок весь становится мокрым. Мои «Жигули-спутник» так древни, что никакая электронная система безопасности им не требуется; их древность – лучшая гарантия от угона. В сравнении с ними стоящие рядом «Рено Меган» Маврикия и «Опель Астра» Ромки, совсем не роскошные, кажутся машинами миллионеров.

Когда до ворот, театрально освещенных моими фарами, остается метров пятнадцать, они медленно начинают отползать в сторону – подал пультом с крыльца сигнал Савёл.

Выехав на шоссе, я прохожу по нему метров триста, съезжаю на обочину и останавливаюсь. У меня нет сил вести машину. Боже, Боже, что делать, как добывать на хлеб, раз ты продолжаешь длить мою жизнь, и даже инстинкт самосохранения, словно у пятнадцатилетнего юнца!

Я кладу перед собой руки на руль, ложусь на них головой и закрываю глаза. Боже, Боже, дай сил, научи, что делать, Господи, подскажи!

Открыть глаза и поднять голову заставляет меня грубый, сильный стук в стекло у меня над ухом. Это гаишник. В блестящем от дождя плаще поверх желтой светоотражающей куртки, в перчатках с громадными раструбами. Он стоит около моей машины и стучит с такой экспрессией – я бы открыл глаза, будь даже мертв.

Рука моя, словно сама собой, дергается к ручке на двери и торопливо крутит ее, опуская стекло. Гаишник на дороге, да еще на такой трассе – это все равно что встреча с самим Господом Богом на Страшном суде.

– Что случилось? Почему стоите? Вам плохо? – железным уличающим голосом вопрошает гаишник, так что я мгновенно начинаю чувствовать себя наверняка совершившим некое правонарушение.

– Нет-нет, все нормально, – тишайше, с упреждающим признанием своей вины говорю я.

– Нормально? – тем же уличающим голосом переспрашивает гаишник, оглядывая внутренность машины, – будто ощупывая взглядом. – А почему остановились?

– Да просто... – тяну я, не зная, как выскользнуть из мышеловки, в которую заскочил собственной волей. Следовало сообразить, что на такой трассе стоящая на обочине машина с водителем, лежащим головой на руле, непременно покажется подозрительной. – Надо было обдумать одну мысль. Я поэт, – спасительно соображаю я, как ответить. Поэт – это что-то вроде юродивого. А с юродивого что взять.

– Поэт? – снова переспрашивает гаишник. В его железном уличающем голосе звучит недоумение и неверие. – Прямо и книжки есть?

Без книжек господин поэт не ездит. Книжка – спасительница, книжка иногда помогает уйти и от настоящего нарушения.

Я перегибаюсь через спинку, достаю с заднего сиденья сумку и вытаскиваю из нее экземпляр книжки. Книжка с портретом на задней обложке. Правда, фотография, как и должно быть на книжке, вышедшей еще при советской власти, больше чем пятнадцатилетней давности, но все же в том прежнем можно узнать меня нынешнего.

Гаишник, сняв с руки перчатку, просовывает руку в окошко, берет книжку, крутит перед собой, обнаруживает фотографию, и глаза его, прыгая с фотографии на меня и обратно, приступают к оценке правдивости моего заявления. Оценка оказывается в мою пользу, – голос его наполняется пусть и порицающей, но теплотой:

– Что же вы, Леонид Пospelов, выбрали такое неудачное место для мыслей? – И шутит: – Думать надо, где думать!

Судя по всему, критическая точка позади, Зевсов гнев остывает, и я закономерно наглею, отваживаясь перехватить инициативу в свои руки.

– Давайте я вам подпишу, – говорю я, извлекая из внутреннего кармана ручку и забирая у него книжку, словно он уже дал согласие. – Останется на память о нашей встрече.

Я завожу мотор и выползаю с обочины на проезжую часть со сладостным чувством удачно обтяпанного дельца.

Чувство удачно обтяпанного дельца наполняет меня бодростью и энергией. Голова у меня ясна, мир чист, промыт, горизонт жизни четок. Я знаю, что мне делать, представляю свои следующие действия на десяток ходов вперед. Если, конечно, мне будет сопутствовать удача. Если Балерунья окажется дома. Если разрешит мне приехать к ней. Если не откажет в моей просьбе.

Балерунья – так я называю ее лишь про себя. Она не разрешает мне называть ее Балеруньей. Давно, в самом начале нашего знакомства, когда она и в самом деле еще танцевала, мое настойчивое желание обращаться к ней так стоило мне почти полугодового отлучения от ее дома.

Я вытаскиваю из кармана мобильный, нахожу в его записной книжке домашний телефон Балеруны и посылаю на него вызов. Меня интересует именно домашний ее телефон, не мобильный. Замышленный мной разговор требует встречи. И не где-нибудь, не на ходу.

Балеруна оказывается дома.

– Лёночка, – говорит она своим ласковым поющим голосом. – Привет! Слушаю тебя, дорогой.

Дорогой напрашивается к ней домой. Прямо бы сейчас. Очень нужно. Очень, очень нужно.

Да если бы и не очень нужно, о чем разговор, она меня всегда ждет – разве только совсем не может. А так вообще всегда, и сейчас – конечно. Через сколько я буду у нее?

* * *

Во двор Балеруниного дома на Гончарной, бывшей Володарского, не заедешь. Чугунные ворота в арках, которые в прежние годы всегда стояли распахнутыми, теперь так же всегда замкнуты, внутрь могут попасть только свои, у кого есть ключи. В соседях у Балеруны из прошлых жильцов почти никого не осталось – сменились девять из десяти. В достойных домах должны жить достойные люди. Гончарная (бывшая Володарского) на моих глазах стала буржуазной, вся залоснившись, словно дворовый кот, попавший в поварскую. Я с трудом вталкиваю свое корыто между «мерседесом» и «ауди» едва не у высотного здания на Котельнической, в другом конце улицы, и, распахнув зонт, слыша шуршащий перестук капель над головой, мимо парадных входов банков и других подобных им офисов отправляюсь в обратный путь к Балеруниному дому.

Балеруна встречает меня в шелковом китайском халате, в краснодраконий распах которого на каждый шаг выметывается ее великолепная сильная ножка. Она по-прежнему каждый день часа два проводит у станка, установив тот в одной из комнат своей безбрежной квартиры, и икры у нее – будто два кирпича, упрятанных под кожу, такие ножки встречаются лишь у балерин. Под халатом у нее, может быть, ничего нет, но это не значит, что она намерена допустить заявившегося в ее пещеру Али-Бабу до своих сокровищ. Она любит ходить в халате на голое тело. Она любит свое тело и любит дразнить им. Хотя в намерениях ее можно и ошибиться и получить сокровища, совершенно на них не рассчитывая.

– Я так обрадовалась твоему звонку, – говорит Балеруна, подставляя мне губы для поцелуя. – Не так, не так! – восклицает она, отрываясь от моих губ и глядя на меня с негодованием. – Как ты целуешь? Меня нужно целовать крепко, сильными губами. Совсем забыл, как меня нужно целовать?

Я исправляюсь, целую ее в соответствии с ее требованиями.

– Вот, теперь другое дело, – удовлетворенно отстраняется от меня Балеруна. – А то совсем все забыл. Забросил свою бедную Лизу.

Я невольно хмыкаю. Имя Балеруны действительно Лиза, но к героине Карамзина она имеет такое же отношение, как я к лермонтовскому Печорину. К какой героине русской классики она имеет отношение, так скорее к Настасье Филипповне. Или Ирине Николаевне Аркадиной из чеховской «Чайки». А может быть, к Раневской из «Вишневого сада». Хотя, наверно, я называю ее Балеруньей, чтобы не называть гетерой. Потому что, в принципе, она гетера. Только в отличие от тех римских гетер в течение двадцати лет она танцевала не просто перед своими любовниками, а перед зрительным залом (правда, в зрительном зале ее любовники непременно присутствовали, и я, бывало, сживал тоже).

О, как я был влюблен в нее, когда мы познакомились. Если это можно назвать влюбленностью. Я потерял голову – задним числом мне стала понятна эта фраза во всей ее точности. Бог знает что было у меня на шее вместо головы, не хочется даже искать сравнений. Наверное,

тогда по ее слову я не мог только совершить убийство, все остальное, скажи она, – пожалуйста. Балериной она была вполне заурядной, кордебалет и кордебалет, но в танце с мужчиной она оказывалась примой. В настоящие солистки вытянуть ее так и не смогли, но все остальное, что только можно было взять от жизни, она получила. Эту же вот квартиру на Гончарной. Тогда, конечно, Гончарная еще называлась Володарского, но квартира-то была этой же. От меня, впрочем, она ничего не получила. Кроме пользования ее сокровищами да нескольких посещений ЦДЛ, писательского клуба. Она держала меня при себе ради меня самого. Мне даже не пришлось бросать свою вторую жену, на что я уже был готов, несмотря на то что жена только что родила нашу дочь и еще кормила грудью. Балерунья сама же и не позволила мне сделать этого. «Ты с ума сошел?!» – спросила она меня со смехом, когда я признался ей в своей готовности переменить ради нее свою жизнь. Тогда вот мне и открылась ее сущность. Вернее, она сама мне ее и открыла. Не подстелив ни пучка соломы, чтоб было помягче, разом переводя отношения в ту плоскость, которая ее устраивала. О, как я страдал тогда. Стыдно даже вспоминать. Так я и понял, как юные римские аристократы просаживали на гетерах отцовские состояния.

Развешивая полами халата, Балерунья ведет меня в глубь квартиры. То, что она приводит меня в гостиную, – знак. Гостиная значит, что допуск к ее сокровищам не исключен. Гостиная у нее – это почти будуар, сигнал доверительности, тем более что сейчас в ней устроен интимный полумрак-полусвет; если бы допуск к сокровищам категорически исключался, она привела бы меня в столовую. Балерунья вся из таких знаков.

– Вид у тебя, чтоб ты знал, будто у тебя морская болезнь, – роняет Балерунья, когда я утопаю в большом, сработанном для двух таких, как я, кожаном кресле, а она, налив мне пятизвездочного коньяка «Арарат», себе бокал красного французского вина, забросив ногу на ногу и открывшись почти до паха, устраивается подле меня на круглом толстом подлокотнике. – Что-то я и не припомню, чтобы мне приходилось видеть тебя таким.

Не приходилось, почти наверняка. Рядом с Балеруньей, если не хочешь утратить ее интереса к себе, нужно быть победителем, человеком успеха. Страдальцы, неудачники, растяпы ей не нужны, она откажет такому в своем обществе, только почувствует его *конченность*, без жалости. Вот до чего я дошел – позволяю себе предстать перед нею таким, рискуя нашей двадцатилетней близостью. Которая отнюдь не всегда была телесной, но которой я всегда дорожил – одинокому волчару нужен камелек, к которому он может прийти и погреться, пусть огонь этого камелька и согреет тебе только один бок.

– Милая Лиз... – прочитав в свою пору «Встречи с Лиз» Добычина, вслух, обращаясь к ней, я всегда называю ее так, ей нравится это обращение. – Это, ты полагаешь, так на меня действует декабрьский дождь? Ты заблуждаешься, морской болезнью я страдаю лишь возле тебя: столь сильно ты мне кружишь голову.

С ней надо трепаться, забавлять ее, быть ей интересным. Только в виде трепа и можно высказать ей свою просьбу.

– Да, – словно потягиваясь, произносит она, – не ты один, у кого кружится голова. Но я тебе верна. Ты обратил внимание, сколько лет, а я тебе верна?

Интересно, что она имеет в виду под верностью? То, что за двадцать лет мы не разорвали отношений? Ну так это были отношения без всяких взаимных обязательств, что тут было разрывать – нечего.

– О, какая ты верная подруга! – говорю я. – Вернее не видел. И щедрая: «Арарат» пять звездочек. Это покраще всякого «Хеннесси»!

– Что ты имеешь против «Арарата»? – вопрошает Балерунья. – Чтоб ты знал, понимающие люди считают «Арарат» пять звездочек лучше всякого «Хеннесси»! Пьешь, наверно, всякую дрянь подешевле, вроде паленой водки, от которой все вокруг травятся?

Это она перебирает. Ей прекрасно известно, что я отнюдь не большой любитель выпить, а потому весьма разборчив в напитках и пить паленую водку – это уж извините. Но кое в чем она недалека от истины: когда приходится покупать на свои, то приходится покупать что подешевле. Я уже давно не могу позволить себе что подороже. И если бы речь только о дарах Бахуса!

– Стараюсь пить на даровщинку, – отвечаю я ей. – Вот, что-нибудь вроде «Арарата» пять звездочек. Неплохой, знаешь, коньяк, понимающие люди говорят, получше «Хеннеси».

Балерунья смеется. Ей приятен мой треп, такая пряность в разговоре по ней. Перец и гвоздика в блюде – это по ее вкусу.

Так, в трепе, сыпля перцем с гвоздикой, я и раскатываю перед ней дорожку того разговора, ради которого приехал.

– Подожди-подожди, – перебивает она меня. – У тебя трое детей?!

До нынешнего дня, несмотря на наши двадцать лет, она и понятия не имела, что я столь многодетный отец. Ее не интересовало, а я не полагал нужным обременять ее таким знанием. Сын от первого брака, но он уже в том возрасте, в котором Данте заблудился в сумрачном лесу, и мне только остается удивляться, что за этим мужчиной я когда-то стирал обделанные пеленки. Дочери от второго брака тоже уже изрядно, двадцать два – пора бы и диплом получить, и замуж бы можно, но она все ищет себя, меняя один университет на другой, а замуж в двадцать два теперь кто выходит? – и моя шея по-прежнему не свободна от нее. Однако настоящая моя головная боль – мой второй сын, ее родной брат. Мало того что из-за асфиксии при рождении он пошел в школу с задержкой на год, так нас с моей второй женой угораздило столь неудачно зачать его, что если он не поступит в университет с первой попытки, в осенний призыв, его неизбежно загребут в армию. Мерси боку, я отслужил положенные тогда три года срочной куда в лучшие времена, когда никакой дедовщины не было и в помине, но и тогда, вернувшись из армии, я никому не посоветовал бы отправляться на срочную добровольцем, как мне пожелать сыну казарменной жизни по нынешним временам? А ему до окончания школы – несколько месяцев, в теперешней школе не могут даже научить грамотно писать, одно спасение – репетиторы, но репетиторы – это деньги, деньги, и какие!

– Послушай, – перебивает Балерунья меня в другой раз, – но ты же в разводе с их матерью? Вы же не живете вместе. Или я ошибаюсь?

Она не ошибается. В разводе, в разводе, хотя и неофициальном, и уже тыщу лет. И Балерунья не последняя тому причина и прекрасно знает это, но ей хочется насладиться лишним подтверждением этого знания.

– Мало ли что не живем, – я стараюсь, чтобы в голосе у меня не было и следа тяжести, чтобы он звучал, будто у нас идет все тот же треп. – Я ведь отец. Я не считаю себя свободным от своих отцовских обязанностей.

– Боже мой! – восклицает она. – Я и понятия не имела, что ты такой положительный! Слушай, ты ужасно, ужасно положительный! – Ее узкая быстрая рука расстегивает мне ворот рубашки и проникает на грудь. – Я даже не понимаю, нравится мне, что ты такой положительный, или нет. Надо бы понять!

Предчувствия меня не обманули: мне предлагается набрать полные пригоршни сокро-вищ. Придется брать. Да у меня, по правде говоря, уже и разгорелись глаза. Руки, впрочем, чтобы принять сокровища, должны быть чистыми, – я непременно должен еще принять душ. Желания принимать душ у меня нет. Однако под душ придется отправиться.

Когда через десять минут я вхожу в ее спальню, Балерунья ждет меня уже в постели. В отличие от гостиной здесь не полумрак, а сумрак – лампы-миньоны в затянутых красных материей бра так слабы, что не могут осветить комнатного пространства; их назначение не в том, чтобы дать свет, а в том, чтобы создать этот сумрак. Может быть, это собственное изобретение Балеруньи, а может, где-то и вычитала, но римские гетеры тоже принимали своих поклонни-

ков в темных комнатах, где теплились, лишь слегка разжижая глухой мрак, один-два масляных светильника.

– Какой чистый! Какой хрустящий! Прямо накрахмаленный! – выдает восторженный рык Балерунья, обнимая меня.

Из меня вырывается ответный рык, зверь я, зверь она, мы оба – охотники и добыча. Балерунья была заурядной балериной, но в этом красном сумраке взаимной охоты она гениальна. Она одаривает своими сокровищами с такой самозабвенной щедростью, что огребаешь их столько, сколько в другом случае не унес бы. Я становлюсь с ней способным на такую охоту, на какую не способен больше ни с кем. Моему охотнику сразу после выстрела по силам еще одна, новая охота, на что последние годы согласен лишь с ней.

Однако я все же уже не тот, каким был еще и десять лет назад. Да и она не та. Десять лет назад нам нужен был час, еще раньше часа полтора, теперь нам хватает получаса. Лежа с ней рядом на спине, я вяло думаю о том разговоре, что у нас состоялся. Кажется, она приняла мою просьбу благосклонно. Словно бы ей давно хотелось от меня чего-то подобного, и вот дождалась. Как если б моя просьба разом дала ей надо мной власть, которой она желала и которой все не могла получить. Что это за власть, когда она и без того властвует надо мной уже целую треть моей жизни, так мне и не удастся понять: сознание мое становится все сонней, сонней – и меня уводит в сон.

Сколько я проспал, остается мне неизвестным. Я вынырываю из сонного небытия от того, что, приподнявшись надо мной на локте и сложив губы трубочкой, Балерунья дует мне попеременно то в один глаз, то в другой. Я моргаю, дергаю головой, уклоняясь от теплого ветерка, поворачиваюсь на бок, к ней спиной. Вновь смеживая веки. Но Балерунья не оставляет меня. Она взгромождается мне на плечо, перегибается через него, и глаза мне обдает новое дуновение зефира.

– Эй, ну-ка! – посмеиваясь, трясет меня Балерунья, когда я, принужденный ею открыть глаза, устремляю на нее вопросительный взгляд. – Разоспался. Давай поднимайся. – В посмеивающемся голосе ее звучит сытость. – Девушка довольна. Но она привыкла начинать утро без свидетелей.

Через четверть часа, обутый, одетый, освеженный несколькими пригоршнями холодной воды из-под крана, я стою в прихожей, и Балерунья прощально целует меня особым своим, *провожающим* поцелуем – легко, но цепко, словно говоря: я тебя отпускаю, но ты мой.

– Лиз, мы договорились? – не могу удержаться, спрашиваю я, прежде чем уйти.

– Что за вопрос? – во взгляде ее глаз и в голосе ярко выраженный упрек. – Конечно.

Мы договорились, что она рассылает стрелы из своего колчана во все стороны света, чтобы раздобыть мне какой-нибудь грант. У нас, за границей, от «Интеллидженс сервис», от бен Ладена – от кого угодно. Раз я не могу заработать на жизнь своими умениями – нигде! никак! – подайте, господа, поэту вспомоществование. Почему вы давали другим, направо и налево, а ему, сколько он ни пытался испить из этого источника, все выходил облом? Все вокруг испили из него, и не по одному разу, я, похоже, единственный и остался непрорвавшимся к струе. Или прежде я не слишком и хотел прорваться? Если бы хотел, додумался бы, наверно, до Балерунии раньше. А теперь, значит, прижало... Прижало, прижало!

Ночная Гончарная совершенно пустынна, только стада пасущихся вдоль тротуаров машин, лоснисто блестящих под дождем лаковыми боками, дождь подутых, сечка его еле ощутима, и поднимать над головой зонт нет нужды. Тем более что зонт я забыл у Балерунии. То, что зонт оставлен у нее, я обнаружил, едва выйдя на улицу, но, потоптавшись у крыльца, решил не возвращаться. Меня вдруг пробило суеверным: возвращаться – плохая примета.

Мчатся по ночной Москве, пусть ты и ведешь такое корыто, как мое, настоящее наслаждение – будто ешь «Баунти». Несущихся огней вокруг, несмотря на ночь, несмотря на погоду, полно, но по сравнению с дневной порой – пустыня, и я долетаю до родного Ясенево меньше

чем за полчаса. Хотя и не такое уж оно мне родное; район моего телесного обитания в последние годы – вот и всё.

После чертогов Балеруныного дома моя однокомнатная квартира кажется мне истинной конурой. Ладно что она мала мне и несколько сотен книг просто стоят стопками на полу, но за годы, что прожил в ней после разъезда со второй женой, я так и не сумел придать ей мало-мальски пристойного вида, как въехал, не сделав ремонта, так и живу: линолеум на полу местами порван, обои отстают от стен, на потолке трещины. Невероятно невыгодное сравнение с жилищем Балеруны.

Но это мое пристанище, мой кров, у меня здесь есть стол, есть кровать (диван-кровать!), над головой не каплет – и я люблю свой дом. Просто за то, что он есть. С годами я стал понимать, что такое крыша над головой. Кто ты, что ты, если у тебя нет над головой крыши? Ты уже не живешь, ты выживаешь. Борешься за физическое существование.

Телефон сообщает о своем физическом существовании, только я успеваю раздеться и переобуться.

– У меня, оказывается, нет твоего мобильного! – с возмущением говорит в трубке Балеруны. – Уже третий раз звоню тебе – долго как едешь. Я тут, ты уехал, подумала на свежую голову, – в этом месте она пускает порхающий быстрый смешок (свежая голова у нее после моего отъезда!), – и поняла: не нужен тебе никакой грант. Что грант, что там будут за деньги, да еще когда дадут!

– И что ты предлагаешь взамен? – удается мне вставить в ее речь.

– Я тебя устрою в Кремль, – объявляет Балеруны. – Нет, не на службу, зачем мне такую свинью тебе подкладывать. Будешь им писать, им там требуются всякие сценарии, идеи, и платят, я знаю, очень прилично.

Если бы я не знал Балеруны треть своей жизни, предложение ее показалось бы мне бредом. Но все же оно уж больно неожиданно и непонятно.

– В Кремль? – переспрашиваю я. – Сценарии? Рекламных роликов?

– Узнаешь. Что я тебе буду на пальцах объяснять. – У Балеруны снова вырывается порхающий быстрый смешок. – Всё. Сообщила. Ложусь спать. Уже засыпаю. Кое-кто тут меня так усыпил... – тянет она и зевает.

Я кладу трубку на базу и, наверное, с минуту стою над телефоном в оцепенении. В Кремль! Нужен я в Кремле. Хотя Балеруны кто-кто, но не понтыщица...

2

Жизнь хотелось посвятить *мировой революции*.

Бюст Ленина стоял на площадке между лестничными маршами первого и второго этажей, и, когда, закрытая до времени, с дежурящими около нее с внутренней стороны старшекласниками, входная дверь наконец открывалась, впускала внутрь школы и, моментом скинув в раздевалке пальто, неся по ступеням вверх в класс, всегда хотелось прикоснуться к каменному изваянию ладонью, ощутить тяжесть камня – *приобщиться*.

Рука на лету дотрагивалась до бюста – быстрым, мгновенным шорком, – и, летя дальше, летел уже с этим чувством приобщения. Словно бы уже был принят в эту бессмертную когорту: Ленин-Сталин-Ворошилов-Буденный-Грачптицавесенняя – вошел в нее, осталось только вырасти, а там уж за великими свершениями дело не станет.

Ворваться в классную комнату первым – вот была задача броска вверх. Отталкивая несущегося рядом Только Гаракулова, Женьку Радевича, Сашу Мальцева, отбиваясь от цапающих тебя на ходу рук, успеть к темной коричневой двери раньше всех, схватиться за железную ручку, рвануть на себя – и, ввалившись в голую, пахнущую ночью и пустотой темноту, метнуться к короткой стенке за дверью, щелкнуть собачкой выключателя.

Иногда это удавалось тебе, иногда другим. Тому же Только Гаракулову, или его другу Жеке Радевичу, или Сасе-Масе, как звали твоего друга Сашу Мальцева. Только Гаракулов, стремясь к победе, мог не просто придержать рукой, а и подставить подножку, Жека Радевич – выдернуть из руки портфель. Когда побеждал Саса-Маса – это было досадно, но не обидно, когда первым удавалось прийти Гаракулову или Радевичу, в груди сжимало от обиды поражения.

– Слабак, да? – говорил Радевичу переполненный чувством превосходства Гаракулов, указывая на тебя. – Как навернулся – чуть нос себе не расквасил.

– В следующий раз расквасит! – подтягивающе отзывался Радевич. – В следующий раз расквасишь, – уже напрямую обращался он к тебе.

– Сам расквасишь, – мгновенно отвечалось у тебя.

– Ты что, угрожать, гад? – вопрошал Гаракулов.

Драка вспыхивала – будто к горке черного пороха поднесли спичку.

Радевича удавалось швырнуть на пол мгновенно, но в драку тут же вступал Гаракулов. Если Саса-Маса оказывался рядом, он разнимал, а если нет – то дрались до полной потери сил, заворачивали друг другу за спину руки, зажимали голову локтевым сгибом, ставили подножки, валились на пол и катались по нему, пытаясь подмять под себя противника.

Гаракулов с Радевичем были олицетворением контрреволюции, темных сил, через них проявляло себя зло, отсталость сознания, низость желаний, одержать победу в схватке с ними было делом чести и ответственности перед целью, которой собирался посвятить жизнь.

– По арифметике сто сорок пятая задачка получилась? – спрашивал между тем Саса-Маса.

Это значило, что у него не получилась, и тебя переполняло спесивой гордостью, что тобой задачка решена. Может быть, спеси в этой гордости было и не так много, но была, была – это точно.

– Списывай! – доставал ты из небрежно брошенного на парту портфеля тетрадь по арифметике.

Саса-Маса торопливо усаживался за парту, торопливо вытаскивал свою тетрадь и, вынувши из пенала ручку, автоматическим движением, не глядя, обмакивал ее в чернильницу посередине горизонтальной плоскости парты.

– Ага, так, поезд движется из пункта А... – бормотал он, вчитываясь в написанное у тебя в тетради.

Гаракулов с Радевичем оба мигом оказывались на задней парте, за спиной у Сасы-Масы, оба с тетрадами и ручками, и, заглядывая Сасе-Масе через плечо, привставая и садясь, тоже лихорадочно принимались переписывать содержимое твоей тетради. Только в отличие от Сасы-Масы они ни во что не вдумывались, не пытались понять, почему этот поезд, вышедший из пункта А, пришел в пункт назначения Б раньше, чем другой, вышедший из пункта Б, достиг того самого пункта А. Гаракулов строчил, каменно застыв челюстью, а Радевич безостановочно перебирал губами, швыркал носом, подтирал его рукой, но на кончик все равно то и дело перламутров о натекала капля.

Ты засовывал портфель на положенное ему место под столешницей парты и небрежной вольной походкой шел к выходу из класса – совершить променад по коридору в ожидании начала уроков. Вернее, походка твоя была не только небрежно-вольной, но и исполнена чувства собственной значительности и превосходства. Ты отличник, учеба дается тебе легко, избран звеньевым и членом совета отряда, знаком с председателем совета дружины семиклассником Костей Гришпунем, тебя знают старшая пионервожатая Галя и даже директор школы, суровый и страшный человек, которого все зовут по фамилии: Гринько. Жизнь, что расстилается впереди, проста и ясна: аттестат зрелости, институт, комсомольская работа, руководящая работа в каком-нибудь трудовом коллективе – всё вверх, вверх, туда, к Куйбышеву-Кирову-Орджоникидзе-Иосифувиссарионовичу: служить мировой революции, делу освобождения пролетариата, делу правды и справедливости...

* * *

В четвертом классе Лёнчика, как звали его друзья, выбрали в совет дружины.

Пионерская комната на втором этаже – рядом с директорским кабинетом! – стала местом, куда он мог теперь приходить как свой. Старшая пионервожатая Галя разрешала как своему открывать шкаф, доставать оттуда барабаны, жарко горящие на раструбах бликами света желтые горны и, взяв палочки, грохотать по туго натянутой, похожей на пергамент, лоснистой коже, дуть, вставив мундштук, в сверкающую голосистую медь. Барабанная дробь у Лёнчика получалась самая настоящая, ноги так и просились шагать под нее, ужасно хотелось прямо сейчас же на улицу – и с красным галстуком на груди, строем, чтоб все смотрели и оглядывались, а с игрой на горне выходил конфуз. Он подбирал губы, прижимал их к зубам, чтобы воздух выходил из легких упругой сильной струей, прикладывался губами к мундштуку – из сияющего великолепного раструба вываливалось наружу что-то утробное, сиплое, отвратительное, как если бы кто-то вместо него в насмешку над ним выпускал газы.

Ой, нет, нет – морщилась, прижимала пальцы к вискам Галя, в горн не надо, поставь на место. И добавляла с поощрительной улыбкой: «Твоя сильная сторона не в этом!»

То, что не получалось с горном, было ужасно. Но слова старшей пионервожатой действовали утешающе. Он знал, что они искренни. Подтверждением их искренности было то восхищение, с которым она говорила о нем за глаза, а он слышал. И кому она говорила! Она говорила о нем самому директору Гринько! Дело было так. Лёнчик на перемене летел по лестнице на первый этаж в буфет, дверь в пионерскую комнату, увидел он с лестницы, приоткрыта, ноги у него сами собой свернули к ней – просто заглянуть! – но перед дверью он приостановился поправить форму – и услышал свое имя. Стоять под дверью, подслушивать уже специально было стыдно, и Лёнчик ступил внутрь. Он ступил – и Галя тотчас же смолкла, взглянула на него испытующе: слышал, не слышал? Что оставалось Лёнчику? Изобразить саму невинность: да вот шел, дверь открыта, и я вошел. Директор Гринько тоже обратил на него свой суровый, словно бы хищный взгляд, но слышал Лёнчик слова старшей пионервожатой или не слышал –

это Гринько не волновало, в его взгляде был один интерес, интерес к нему, Лёнчику: вот он, оказывается, какой!

Говоря о его сильной стороне, старшая пионервожатая имела в виду выступления Лёнчика на советах дружины.

Совет дружины собирался раз в неделю, после занятий второй смены. Это было уже часов семь, школу заполняли вечерники – начинала работу ШРМ, школа рабочей молодежи, окна заливала осенняя темнота – непривычное, необычное время, – и пребывание в пионерской комнате исполнялось оттого особого, некоего высшего смысла. Стучали невидимые барабаны, пели невидимые горны, развевались на режущем ураганном ветру невидимые красные знамена – стяги пролетарского дела. Целью советов дружины было обсуждение нарушителей дисциплины и двоечников. Ребята, наставляла перед советом дружины Галя, наша задача – продрать их хорошенько с песочком, чтоб они за ум взялись! Вы им должны задать жару – чтоб от них пар шел! Пионер обязан учиться на хорошо и отлично, а иначе каким он гражданином Страны Советов вырастет, какой прок от него стране будет?!

«Да, какой прок?!» – со страстью отзывалось в Лёнчике.

– Ну, кто там у нас первый по списку? – спросила Галя. Заглядывала в бумажку, лежащую перед ней, и зачитывала фамилию. – Зовите его сюда!

Вызванные на совет дружины толпились в коридоре перед пионерской комнатой. Приглашенный зайти робко протискивался в дверь и старался остановиться прямо около нее, словно сделать несколько шагов до стола, за которым сидел совет, было все равно что взойти на эшафот. Галя, ометаллев голосом, произносила:

– Что, ноги отнялись?! Подойди, подойди поближе, прояви смелость, пусть на тебя все посмотрят. Хулиганить смелости хватает, а в глаза товарищам посмотреть – страшно?!

Лёнчик подхватывал:

– Хулиганить смелости хватало, всю израсходовал, ничего не осталось?! Найди, будь добр! Посмотри товарищам в глаза! Тебя к товарищам вызвали, не к палачу на эшафот!

Все это вырывалось из него само собой, просилось наружу – не удержать. Он чувствовал, будто кипит внутри, клокочет, как, наверно, клокочет, не может удержать в себе раскаленную лаву вулкан, разрывает запаянное жерло – и извергается.

Он клокотал, извергался и в то же время смотрел на себя как бы со стороны, как бы рядом с ним был он другой, кто оценивал его, поправлял, направлял. Ему нужно было это клокотанье, требовалось это извержение. Он ощущал себя избранным. Отмеченным некою высшей метой. А мету надо было оправдывать. Отрабатывать ее.

Сеничкин была фамилия семиклассника, обсуждавшегося на совете последним.

– Ну-ка, поближе, поближе к столу, – потребовала Галя. – Посмотри своим товарищам в глаза. Давай расскажи им, как от тебя весь класс стонет!

– Что он от меня стонет, – вяло отозвался приблизившийся к столу Сеничкин.

– Ах, ты не знаешь, что стонет! – воскликнула Галя. – Думаешь, прикинешься незнающим, всех тут вокруг пальца обведешь? Не выйдет! Урок не выучил – физику сорвал! Урок не выучил – алгебру сорвал! Двойка по поведению в четверти у тебя наклеивается – ты не знаешь?!

Сеничкин, с подсунутыми под ремень большими пальцами рук, подняв глаза к потолку, ухмыльнулся. И ничего не сказал.

– Он ухмыляется! Нет, поглядите на него! Ворон по сторонам считает! – прокатилась вокруг стола, за которым заседали, быстрая волна голосов.

Лавы, клокотающей внутри Лёнчика, ударила неудержимым огненным фонтаном. Совет длился уже почти два часа, Сеничкин последний, жерло вулкана стало было затягиваться осты-

вающей коркой, но в том, как Сеничкин держал себя, в его поведении было такое, что остывающую корку прорвало в одно мгновение.

– Опустит руки! – яростным голосом проговорил Лёничик. – Как ты стоишь! Ты не где-нибудь, ты на совете дружины перед товарищами ответ держишь! Посмотри, рубашка у тебя вся вздулась, каков видок! Вытащи руки, заправь рубашку!

Сеничкин, бросив взгляд на Лёничика, снова ухмыльнулся. Но пальцы из-под ремня он вынул и даже дернул за подол рубахи, поправил ее.

Галя, заметил Лёничик, смотрела на него с одобрением и благодарностью. Давай так и дальше, хорошо, говорило ее лицо.

Лёничика охватило воодушевление. Он двинул стулом и, шумно вскочив, вышел из-за стола, встал за стулом, взявшись руками за спинку.

– Ты думаешь, Сеничкин, ты просто урок сорвал? Ты не урок сорвал – ты преступление совершил! Нам партия все условия создала, чтобы мы учились, знаний набирались, чтобы родину потом в надежные руки передать, учеба – это наша работа, наш пятилетний план, а ты, получается, не просто свой, личный план не выполнил, а и другим его выполнить не дал. Все равно как целому цеху на заводе! Вот что ты сделал, Сеничкин! Думаешь, преувеличиваю? Ничего подобного! Это я тебе перспективу рисую. Горький, помнишь, что говорил? От хулиганства до фашизма – один шаг. Сегодня урок сорвал, завтра еще вроде того – и всё, законченный фашист!

Сеничкин слушал его с непроницаемым лицом. Он уже не ухмылялся, не вскидывал на Лёничика глаза, стоял смотрел в сторону с таким видом – как говорил Лёничик ему что-то, как не говорил.

– Да что, – поворачиваясь к Гале, воскликнул Лёничик, – ему хоть кол на голове теши, он ничего не понимает!

Разгоряченно шагнул обратно к столу, звучно двинул стулом и сел на свое место. Он был ужасно разозлен поведением Сеничкина. Он ему столько всего сказал, а тому хоть бы хны!

Галя была солидарна с Лёничиком:

– Не хочешь, Сеничкин, слушать товарищей? Наплевать тебе на их мнение? Исключение из пионеров заработать решил? Исключим, будешь без галстука ходить!

Сеничкина исключили из пионеров на две недели. Лёничик шел домой вместе с двумя шестиклассницами, и всю дорогу девочки только о Сеничкине и говорили.

– Да его вообще из пионеров нужно исключить, такого! Я бы на месте Гали вообще его из пионеров! – говорила одна.

– Ой, я бы тоже! Как он стоял, с каким презрением смотрел на всех, ты видела?! – отвечала ей другая.

– Еще бы не видеть, конечно, видела, – восклицала первая. – Как с гуся вода с него всё! Лёничик вон ему говорит, а он стоит и внимания не обращает!

– Ой, Лёничек, – радостно подхватила ее слова вторая, – ты ему такую головомойку устроил, так здорово напощадал! Ты прямо в ударе был!

Лёничку была приятна ее похвала.

– Да-а, чего там, – сказал он небрежно. – С такими только так и нужно. Его вовремя не поправить, какую он пользу стране принесет?

Назавтра утром, в классе, только он пришел и бросил на скамейку портфель и еще не успел расстегнуть замка, чтобы достать учебник с тетрадь, к нему подошли Малахов с Дубровым.

– Ты вчера про Горького говорил – Сеничкина на совете дружины обсуждали? – спросил Малахов.

– Я, – подтвердил Лёничик, ощутив острый укол удовольствия от того, что о его вчерашнем выступлении на совете дружины уже так широко известно.

– Ну вот тебе, сука, за Сеничкина, – быстро проговорил Малахов и таким же быстрым хлестким движением ударил Лёнчика в скулу.

– Чтоб не выступал больше! – сказал Дубров, и Лёнчика сотрясло от удара в другую скулу.

– Вы что?! – воскликнул он.

Сильнее всякой боли были обида и недоумение. Как можно было встать на сторону Сеничкина, а не его?!

– Будешь, сука, с нашими ребятами так, – сказал Малахов, – получишь еще! Уделаем в задницу!

Они с Дубровым повернулись, прошли по проходу между партами к двери – и исчезли в коридоре.

Лёнчик взялся за ручку портфеля, хотел открыть замок – и оставил портфель. Пролез вдоль скамеек через парты к окнам и встал там в простенке. Он не понимал, зачем сделал так. Он смотрел, как заполняется класс, как в дверь из коридора входят все новые и новые его одноклассники, и ощущал такое одиночество!словно бы черная воронка кружилась в груди и сосала, всасывала его в себя, превращая в кого-то иного, чем он был прежде.

Прозвенел звонок, и Лёнчик двинулся – навстречу вливавшемуся в класс потоку – мимо доски на свое место. Когда он сворачивал к себе в проход, в класс вошла учительница Екатерина Ивановна. Лёнчик было проскользнул мимо нее – она его остановила.

– Что у тебя, Пospelов, случилось? – спросила Екатерина Ивановна. – У тебя все лицо перевернутое.

Лёнчик передернул плечами:

– С чего вы взяли? Ничего у меня не случилось.

* * *

Нового друга звали Вико́й – от Викентия. У него была непривычная для уха, похожая на название бабушкиной швейной машинки фамилия Зильдер. Учился он в другой школе, на класс младше Лёнчика, но жил неподалеку от Лёнчиковой школы, в длинном трехэтажном доме, называвшемся из-за своей ступенчатой формы дом-пила. Лёнчик сдружился с ним неожиданно. Он тогда полюбил, возвращаясь из школы после уроков, заходить во двор дома-пилы, хотя тот стоял совсем не по дороге домой. Двор дома-пилы из-за его формы был совершенно необычным, дровяники здесь располагались, повторяя рисунок дома, словно в шахматном порядке, и оттого во дворе получилось как бы множество отдельных дворов, и каждый из них не походил на другой. Один был засажен правильными рядами акации, в кустах которой хорошо, наверно, было затаиться, играя в прятки, в другом росли высокие тополя, и под ними стоял большой стол со вкопанными подле него скамейками, за этим столом было бы отлично играть в лото и домино, в третьем была круглая решетчатая беседка, где в летние каникулы замечательно было бы переждать грозу, наблюдая за стеклянной стеной дождя рядом с тобой, в четвертом на пустынной площадке высился столб «гигантских шагов» – такой же, как в твоём дворе, но, казалось, что во дворе дома-пилы и «гигантские шаги» должны крутиться лучше и без этого визга металлического круга наверху, с которым крутился круг «гигантских шагов» у тебя. Все здесь было не такое, чужое, странное, другой, непривычный мир, и этот мир привлекал, манил, притягивал своей непривычностью.

И вот в один из дней он наскочил во дворе дома-пилы на драку. Прижав к беседке, трое наседали на одного, что-то от него требовали – с жесткими, заострившимися, гневными лицами, какие были у Малахова с Дубровым, когда подошли в классе с вопросом о Сеничкине, – и то один, то другой боксерским движением били его по лицу, уже разбив нос, – на губу и дальше на подбородок у того струилась яркая красная струйка. Лёнчик узнал его. Во время своих прогулок здесь он уже видел его прежде. Он обратил на него внимание, потому

что тот обретался во дворе всегда один. В стороне от всех компаний или вроде бы с ними, но поодаль. Одного из тех, что били его, Лёнчик тоже знал – видел в школе. Третьеклассник из класса «В». Явный двоечник, с лицом, невольно вызывавшим сравнение с крысой, на переменах он не участвовал ни в каких играх, а стоял в сторонке со своим товарищем, мордатым и большеруким, похожим на Гаракулова, оглядывали на пару всех вокруг исподлобья – казалось, что-то прикидывали, запоминали.

Увидев эту картину – как трое били одного, – Лёнчик на мгновение остановился от неожиданности, затем в нем внутри как что-то вспыхнуло, и он бросился к беседке. Схватил с ходу за шиворот того из троицы, кто оказался ближе к нему, рванул на себя изо всех сил – так, что тот полетел на землю.

– Трое на одного, да?! – закричал Лёнчик.

Лихо ты, благодарно говорил ему уже потом, когда сдружились, Вика. Они охренели. Они видят, ты старше, подумали, ты их сейчас отметелишь.

Отметелить их Лёнчику точно бы не удалось. Драться так, как они, он не умел. Он не мог бить по лицу. В этом было что-то подлое, низкое – бить в лицо. Не потому, что чувствительно – он теперь знал, что это чувствительно, – а потому, что в лицо. Сработал эффект неожиданности и, видимо, то, что крысолицый также знал его по школе.

– Он нам два рубля должен, гад, а не отдает! – вскакивая, проблажил тот, которого Лёнчик свалил на землю.

– Ничё я вам не должен, – слабо сказал Вика, швыряя носом и подтирая пальцем с губы бегущую кровь. Неожиданная помощь разом ободрила его.

Крысолицый, быстро окинув Лёнчика оценивающим взглядом, вдруг заулыбался.

– Ладно, – сказал крысолицый, – мы ему прощаем. Раз ты за него. Чё ты сразу-то так!

По тому, как он обращался к Лёнчику, было ясно, что Лёнчика по школе он тоже знает и школьный авторитет его как старшего – авторитет для крысолицего и здесь, на улице. А может быть, он решил, что за Лёнчиком кто-то стоит, еще более старший, с кем наверняка лучше не связываться.

Лёнчик проводил Вику до квартиры. Вика попросил его зайти, и, хотя Лёнчик уже торопился, потому что пора было домой, и так задержался, пришлось ответить Вике согласием: матери его подошло время прибежать с работы на обеденный перерыв, и увидит его с таким носом – поднимет хай до неба, а будет он не один, поднимать хая не станет. Ей, главное, сразу хайла не дать открыть, а потом она, наоборот, жалеть будет, уговаривающе сказал Вика. Лёнчика это удивило, его мать никогда на него не кричала, как и отец, но он не стал выказывать своего удивления, сделав вид, что родительский хай для него – обычное дело.

Квартира у Вики была коммунальной, дверь открыла соседская старуха, но Викина мать и в самом деле уже прибежала – распахнула дверь комнаты и прокричала Вике с порога:

– Поживее, поживее! Жанна уже за столом, и всё на столе! – Тут она заметила за плечами Вики Лёнчика. – Это ты с кем?

– Здравствуйте, – выступая из-за Вики, поклонился Лёнчик. – Меня Лёня зовут. Я в 68-й школе учусь, четвертый «Б» класс.

– Да-а? – с удивлением протянула Викина мать. – Очень интересно. И что такое? – Она двинулась им навстречу, и полупотемки прихожей не смогли скрывать тайну Викиного носа дальше. – Опять! – криком изошло из Викиной матери. – Опять всю одежду... – Тут она, видимо, вспомнила о Лёнчике, и крик ее пресекся. – Но ты сумел дать сдачи?! – через паузу спросила она Вику.

Вика залепетал что-то невнятное, и Лёнчик понял, что слово должен взять он.

– Там невозможно было дать сдачи. Простите, не знаю, как к вам обращаться...

– Ого! – проговорила Викина мать. – Как обращаться!.. Таисия Евгеньевна, можно ко мне обращаться, молодой человек.

– Там их было трое на одного, – сказал Лёнчик. – На Вику, я имею в виду. – Когда трое на одного, очень трудно дать сдачи.

– А Лёня меня выручил! – ясно, внятно каждое слово произнес Вика. – Он подбежал, как Петьку швырнул... Они все сразу же разбежались!

– Ну не разбежались. – Лёнчик не хотел большей славы, чем заслужил. – Но они испугались. Трое на одного! Это подлость.

Взгляд Викиной матери, когда Вика стал рассказывать о славном деянии своего неожиданного спасителя, устремился на Лёнчика, и смотрела она теперь так внимательно, что Лёнчику стало не по себе. Она была высокая, статная, с выпуклыми большими глазами, и казалось, просвечивает его взглядом, будто на рентгене, до костей.

– Ладно, я пойду, – сказал Лёнчик. – Я с Викой просто... проводил его, меня бабушка дома ждет.

– Нет-нет, ни в коем случае! – Викина мать ступила к нему, принялась расстегивать пуговицы на пальто. – Ты должен остаться и пообедать с нами. У нас от Симхастойры фаршированная щука осталась. Настоящая еврейская фаршированная щука. Ты когда-нибудь ел еврейскую фаршированную щуку? Уверена, что не ел.

Щука была – щука и щука, окунь, из которого бабушка любила варить уху, нравился Лёнчику больше. Да еще эта щука оказалась чем-то набита внутри, и есть эти внутренности уж совсем не хотелось. Но Викина мать то и дело спрашивала: «Как, нравится?» – приходилось подтверждать: «Еще как!» – и ничего не оставалось другого, как трескать за обе щеки.

За столом сидели вчетвером. Жанка, которую помянула, выйдя из комнаты, мать Вики, оказалась Викиной сестрой. Она училась в той же школе, что Вика, была одного года рождения с Лёнчиком, но пошла в школу раньше, и теперь училась на класс старше его. То, что одного года, а на класс старше, давило Лёнчика. И Викина сестра все время подчеркивала свое старшинство. «А вот это вы уже проходили? – спрашивала она Лёнчика. – Не проходили? Ой, мы год назад в это время уже прошли!» У нее были такие же выпуклые серые глаза, как у матери, но, в отличие от матери, она была темноволосая, и ей это очень шло – светлоглазая, но темноволосая, все черты ее лица от этого были такими внятными, отчетливыми – будто проведенные грифелем. Вика был и светлоглазый, и светловолосый, еще чуть-чуть – и белобрысый.

После обеда, когда мать унеслась обратно на работу, а Жанна, расчистив стол, села делать уроки, Вика пошел Лёнчика провожать. Первым делом, когда они оказались на улице, Лёнчик спросил:

– А что такое еврейская фаршированная щука?

– Как что? – удивился Вика. – Вот ты ел.

– Нет, что значит «еврейская»? «Фаршированная» – понятно. А что значит «еврейская»?

– Как что значит, – сказал Вика. – Раз у меня батя еврей.

– А «еврей» – это что?

– А ты что, не знаешь, кто такие евреи? – в Викином вопросе прозвучало еще большее удивление.

Лёнчик замялся. Ему было неудобно, что он не знает, кто такие евреи. Вика вот знает, а он нет.

– Это что, специальность такая? – спросил он наконец.

Вика фыркнул:

– Специальность! Национальность, а не специальность. Вот ты кто по национальности?

– Не знаю, – сказал Лёнчик.

– Раз не знаешь, значит, русский, – уверенно заключил Вика. – Вот я тоже русский. Сеструха у меня русская. Матушка русская. А батя еврей. Польский. Он от фашистов убежал, его сюда к нам на Урал привезли, и тут они с матушкой встретились и поженились.

– Мои тоже тут встретились и поженились, – зачем-то сообщил Лёнчик. Он просто не знал, что ответить на этот Викин рассказ. – Наш Уралмаш – это такая большая социалистическая стройка была, сюда отовсюду приезжали и здесь встречались.

Вика присвистнул:

– Ты что! Уралмаш же в тридцатые строили. А батя сюда позднее приехал. Нет, мои потом встретились, Уралмаш уже был.

Отца Вики Лёнчик увидел позднее, когда уже лежал снег и на заводском стадионе залили футбольное поле под каток. В воскресенье он собрался туда кататься на коньках, оделся, повесил на грудь, перекинув через шею, связанные тесьмой ботинки с «гагами», но никто со двора компании ему не составил. Ни Вовка Вовк из пятой квартиры, ни Борька Липатов из восемнадцатой, ни Игорь Голубков из тридцатой. Идти одному было скучно, и он решил сходить позвать нового приятеля.

Вика был дома, тотчас согласился отправиться на каток, и, пока он собирался, Лёнчик сидел ждал его у него в комнате.

Комната у них была большая, в два окна, Лёнчик сидел на стуле у самой двери, а в другом конце комнаты, в простенке между окнами, в черном кожаном фартуке, зажав между ногами сапожную лапу, сидел с надетым на лапу ботинком, стучал по нему молотком, вынимая изо рта маленькие сапожные гвозди, Викин отец. Посередине головы у него была широкая лысина, волосы на висках кудрявые, длинные и торчали в стороны двумя черными пушистыми метелками.

Оказывается, Лёнчик знал Викиного отца и раньше. Это был сапожник из обувной мастерской на площади Первой пятилетки. Лёнчик как-то сдавал ему обувь в починку, тот выписывал квитанцию, называя его почему-то «паном», и еще Лёнчику показалось странным, как тот говорил: по-русски, но с какой-то необычной интонацией, и все время вставлял в свою речь слова, которые были непонятны.

Потом, когда шли на стадион, Вика рассказывал: батя сапожник, таких в городе больше нет, раньше он работал в обкомовской мастерской, все партийное начальство в городе ходит в его ботинках, и туфли на их женах тоже им сшиты, но поругался с самим первым секретарем обкома, не стал ему шить, как тот просил, потому что так, как тот просил, шьют только на «Скороходе» для быдла, теперь он в обычной мастерской, чинит обувь, но все равно заказов у него – на полгода вперед, и теперь в его обуви ходит все заводское начальство.

Лёнчику было непонятно, что такое обком, партийное начальство, но Вика говорил так, что получалось – все это должны знать, и он не решался ничего уточнять. Он только сказал:

– Да, я как-то батю твоему сдавал в починку. Там, на площади Первой пятилетки.

– Точно, на площади Первой пятилетки, – подтвердил Вика.

Так с того раза в ту зиму и повелось: как собирался на каток, бежал звать с собой прежде всего Вика. Или же, с коньками на груди, возникал сам Вика: «Пойдешь сегодня?» В ту зиму, когда учился в четвертом классе, Лёнчик очень часто ходил на каток, бывало, что и каждый день.

И всё с Викой. Вика даже гулял теперь не в своем дворе, а прямым ходом бежал во двор Лёнчикова дома, и все тут уже знали его, принимали как своего, так о нем и говорили: друг Лёнчика.

Еще в том году Лёнчик много читал. Он был записан в детскую библиотеку на улице Стахановцев и во взрослую заводскую на улице Ильича. Точнее, во взрослую заводскую был записан отец, но можно было ходить брать книги на его абонемент, и раз в недели две Лёнчик это делал. В библиотеке на Ильича он брал книги, которые бы ему не удалось получить в детской: «Падение Берлина» Шпанова, «Борьба за мир» и «В стране поверженных» Панферова, «Сталь и шлак» Попова, «Белая береза» Бубеннова, «В окопах Сталинграда» Некрасова, «Семья Рубанюк» Поповкина, «За правое дело» Гроссмана, «Сын рыбака» и «К новому берегу» Вилиса

Ладиса, «Дни нашей жизни» Кетлинской, «На сопках Маньчжурии» Павла Далецкого. В детской приходилось брать, что входило в рекомендуемые списки. Но брать можно было сразу по три книги, и то, что читать не хотелось – какие-нибудь сказки народов Севера, – принесся домой, просто не читал. Из книг детской библиотеки Лёничку особенно понравилась книга о Володе Дубинине «Улица младшего сына» Льва Кассиля, «Школа» Аркадия Гайдара, «Два капитана» Каверина, «Сын полка» Валентина Катаева, его же «Белеет парус одинокий» и рассказ «Отче наш», в котором он, правда, мало что понял. Еще он в тот год прочел «Кортик» Рыбакова, «Старую крепость» Беляева, книги про шпионов «Осиное гнездо», «Тарантул», «Над Тиссой».

Но после того случая с Сеничкиным он перестал выступать на совете дружины, как прежде. Не то чтобы он боялся, что к нему снова может кто-то подойти – как Малахов с Дубровым. Ничуть он этого не боялся. Хотя воспоминание о пережитом унижении было всегда с ним, не оставляя, кололо – словно камешек, попавший в ботинок, но камешек можно вытрясти, а воспоминание о том унижении вытрясти из себя было невозможно. И вот, может быть, из-за него? Как бы то ни было, он больше не мог, как прежде. Хоть заставляй его – не мог.

3

О Боже мой, будь они прокляты! Деньги, я имею в виду. Финикийцы, придумавшие эту штуку, чтоб вы на том свете жарились беспрерывно на сковородках, – это все благодаря вам: и радио с телевидением, и Хиросима-Нагасаки, и глобальное потепление климата – вся наша цивилизация. Не этот бы ваш эквивалент труда и товара, алхимики не искали бы способов превращения всего и вся в золото, леонардо да винчи не толклись бы вокруг порфириносных дворцов, стремясь получить побольше звонкой монеты за свои изобретения, Ньютон спокойно занимался богословием и не лез в тайны мироздания.

Мой заблудившийся в сумрачном лесу бизнеса старший сын звонит мне, когда я еще в постели. Правда, час уже далеко не ранний, рабочий день начался даже в самых ленивых конторах, но я еще не вставал. В этом и заключается преимущество человека свободной профессии – возможность валяться в постели хоть до полудня. Впрочем, я не сплю. Лежу и просто не могу заставить себя подняться. Унижение, пережитое мной вчера в доме Савёла, снова стоит во мне у самого горла, и я задыхаюсь от него.

– Отец, что такое, ты здоров? – спрашивает меня сын, услышав мой голос.

Голос стиснутого депрессией, как удавим телом Лаокоона.

– Вполне, – отвечаю я. – А что ты? Всё в порядке?

Звонок его предательски свидетельствует против него: было бы все в порядке, что бы ему звонить мне. Однако же он полагает своим долгом получить от меня подтверждение моему бравурному заявлению.

– Нет, ты правду говоришь? Тебе можно верить?

Верить мне нельзя. Но что ему до моих обстоятельств.

– Верь мне, верь, – говорю я. – Кому же тебе и верить, как не отцу.

– Да, это ты прав, – следует мне ответом после паузы и глубокого вздоха, в котором прорывается тот же Лаокоон, что у меня.

Вздох означает переход к сути дела. Из-за которого он и звонит мне. И я догадываюсь, что у него за дело. Они, эти самые штуки, изобретенные финикийцами.

И конечно же, я оказываюсь прав. Ему нужны деньги. Немного, четыре тысячи долларов. Ненадолго, месяца на два. За два месяца он разрулит ситуацию. Он очень просит выручить. Ему сейчас больше не к кому обратиться, только ко мне. А если он сейчас не разрулит ситуацию... Тут он прерывается. Прерывается и ждет моей реакции.

Моя реакция – заорать во всю силу легких, и все матом, матом, таким многоэтажным – вавилонская башня и завершенной показалась бы рядом с моим ором приземистым баракком.

Но я молчу и только тяжело дышу в трубку. Какое я имею право обрушивать на него свои чувства. Ведь этот крик адресован не ему. Да и вообще неизвестно кому. Во всяком случае, он не виноват, что не оказался в начале девяностых в нужном месте и в нужное время, как оказались другие. Может быть, ему чуть-чуть не достало возраста, чтобы попасть в число тех, кто оказался в этих нужных местах в нужное время. А может быть, и окажись, ничего бы ему не обломилось. Не всем ведь обламывалось. Его отцу вон тоже ничего не досталось. Правда, отец и близко не стоял к нужным местам, а что за время на дворе – вообще ничего не понимал. А сейчас я не понимаю, что у него за бизнес. Сегодня компакт-диски, вчера мебель, позавчера скобяные товары, и все должно вот-вот принести бешеные бабки! И не имею представления, сумел ли он закончить свой исторический факультет МГУ, куда в свою пору так блистательно поступил! Наверное, нет. Так и остался без высшего образования, разве что купил какой-нибудь липовый диплом, чтобы в случае нужды было что предъявить.

Теперь ему понадобилось четыре тысячи долларов. Деньги, которых у меня и не ночевало. Вернее, так: они у меня есть, как раз четыре, чуть больше, но это такой НЗ – все равно

что продать собственную почку. Если я отдаю их ему, на младшего сына не остается ничего, не говоря уже о дочери. Но дочь – ладно, а у младшего мало что репетиторы, но еще и само поступление, и, может быть, придется на платное... Я чувствую себя героем югославского фильма, который смотрел совсем молодым, – действие там происходило во время Второй мировой, фашистский офицер за какую-то вину собирается расстреливать сыновей крестьянина, а потом, подбрав, дает ему на выбор спасти одного из них. Веселенький фильм.

– Возьми кредит, – собравшись с силами, наконец говорю я, как будто не знаю ответа. – Банки кредиты сейчас направо-налево раздают, только ленивый не берет.

– Вот я уже это и сделал, – ожидаемо отвечает он мне. – И у банков, и не у банков. Я же говорю, такая ситуация – больше мне не к кому обратиться.

Теперь мне вспоминается герой Генри Миллера из «Сексуса». Он был вечно без денег, всем должен, ненавидел своих кредиторов, но к одному из них испытывал симпатию: к отцу. Потому что отец никогда не торопил его с возвратом долгов. Отдашь, когда сможешь, говорил отец. Я так не говорю, но тем не менее по молчаливому согласию мы так и поступаем: долг за сыном не меньше той суммы, что он просит сейчас, но отдавать мне тот долг он пока не собирается. С какой же стати ему возвращать через два месяца новый?

Я решаюсь.

– Нет у меня таких денег, – говорю я. – Извини.

Зачем я, болван, произношу это последнее слово! Он сразу же чувствует мою слабость – и энергично переходит в решающее наступление:

– Ну если не всю сумму? Хотя бы половину. Отец, хотя бы половину, это помогло бы мне продержаться!

Ах, Боже мой, я сдаюсь. Ненавидя себя, понимая, что вновь делаю глупость, – но сдаюсь.

– Подъезжай, – говорю я. – Но только чтобы через два месяца возвратил. Кровь из носу.

– Обещаю, – отвечает сын. Голос у него уже молодецки-бодрый – как у рекламного ковбоя «Мальборо». – Через два месяца обязательно. Может быть, даже и раньше.

Я опускаю руку с трубкой на одеяло и снова лежу, пусто глядя на потолок, лежу, лежу... Тому, кто позавидует свободному художнику, имеющему возможность вот так по утрам валяться, глядя на потолок, я скажу: мой дорогой, готов поменяться с тобой местами и вскакивать по утрам как ошпаренный по звонку будильника! Это вы, пришитые своей работой к какой-нибудь структуре, полагаете, что таскаете гири на ногах. На самом деле принадлежать к структуре – это гарантированно иметь кость с куском мяса на ней. Это все равно что принадлежать к стае. В стае, пока ты не ослаб, не подранен и не разлил в воздухе запаха своей крови, твоя доля общей добычи тебе обеспечена. А волк-одиночка может рассчитывать лишь на себя.

Но, сколь ни долго я созерцаю давно не беленный потолок своей комнаты, в конце концов я поднимаюсь. Машу руками-ногами, приседаю-наклоняюсь. Чего я не делаю – это уже не отжимаюсь. Что-то при отжимании кровь приливает к голове как-то не так, как прежде. Прежде она проясняла мозг, будто там прометало горячей метлой, теперь его затуманивает. Делая зарядку, я занимаюсь самооправданием. Да, я, конечно, идиот, но все же не законченный. Я позволил себе дать слабость, потому что надеюсь на вчерашнее предложение Балеруны. Чего-чего, а слов на ветер она не бросает. Сколько, правда, придется ждать...

Ждать придется недолго. Новый звонок телефона раздается, когда я, перед тем как залезть в ванну принимать душ, чищу над раковиной зубы.

– Аллэ-ё! – торопливо прополоскав зубы, так же торопливо схватив лежащую в готовности на крышке стульчака рядом трубку, произношу я с такой вальяжностью – ну прямо английский лорд, хозяин имения и пью свой поздний утренний кофе со сливками в кресле у разожженного дворецким камина.

Это она, Балерунья.

– Ручка, бумага имеются в доме? Готов записывать?

Она диктует мне телефоны. Рабочий, еще рабочий, мобильный. Можно сказать, полный набор, нет только домашнего.

– Можешь прямо сейчас и звонить.

– И что говорю? – уточняю я.

– А ничего. Задача решена, твое дело – подставить в условия нужные цифры.

– Но порядок цифр? – продолжаю настаивать я. – Чтобы сориентироваться.

Она осаживает меня своим неподражаемым легким смешком:

– Не волнуйся. Тебя сориентируют. Без подвохов.

* * *

Однако, попрощавшись с Балеруньей, я не сразу берусь за трубку, чтобы звонить по полученным номерам. Во-первых, я все же принимаю душ. Во-вторых, выйдя из ванной, я варю себе и выпиваю чашку кофе. Добавляя в него молока из пакета. В молодости я пил кофе исключительно черный, потом перешел на кофе со сливками, но как с началом ельцинских реформ стал вместо сливок употреблять молоко, так больше никогда и не позволял их себе. В выборе между сливками и бензином я отдал предпочтение последнему. Отказав себе вместе со сливками и во всяких других подобных прихотях. Например, хотя бы в паре новой обуви раз в год. Теперь со всеми своими башмаками я регулярно таскаюсь в починочную мастерскую и донашиваю их до состояния полной катастрофы.

Сын появляется, когда кофе как раз допит и я, залезши в заветную книжку из своей четырехтысячетомной библиотеки, успеваю извлечь оттуда обещанную ему сумму. От его появления в моей однокомнатной берлоге разом делается тесно. Я если и не мелковат, то все же не слишком высок ростом, как вымахал, помню, к четырнадцати годам до ста семидесяти, так того роста и остался и, в общем, сохранил прежний рисунок фигуры, а он не в меня: и выше на полголовы, и шкафообразен в плечах, и в свои тридцать пять уже животаст – видимо, в породе моего бывшего тестя.

– Отец, привет, тыщу лет тебя не видел! – с порога топит меня эта гора в своих объятиях.

Если я скажу, что его объятия не трогают меня, это будет неправдой. Трогают, и еще как. Хотя, конечно же, я не забываю, зачем он приехал. Но мои чувства к нему усугубляются комплексом вины перед ним. Что из того, что он в возрасте, который с легкой руки Данте принято считать серединой жизни. Я не могу забыть, что он был *оставленным* ребенком. Не только мной, но и матерью. И если я – вот он, здесь, можно мне позвонить и попросить у меня займы, то где его мать? Вета ее звали. Неплохое имя для поэтессы.

– Привет, сын, привет, – похлопываю я его по спине. – Кофе выпьешь?

Он мнетя.

– Ты знаешь, у меня сегодня еще дел... Я бы взял – и сразу помчался.

Что ж, может быть, это даже и хорошо, что сразу. Что делать со взрослым сыном? Сидеть и смотреть друг другу глаза в глаза? Глупее не придумаешь. Он не рассказывает ни о своих делах, ни о прочей жизни, которую называют личной, а мне, со своей стороны, рассказывать ему о себе – что может быть пошлее?

– Держи, – подаю я ему конверт с долларами.

Он уходит, и я, собравшись с силами, представив себя лордом в покойном кресле Викторианской эпохи у разожженного дворецким камина у себя в имении, с видом из окна на английский парк, набираю один из полученных от Балерунии номеров.

– Да, слушаю, – почти тотчас приветливо отзывается мужским голосом трубка.

Моего собеседника зовут Евгений Евграфович. За всю жизнь не встречал человека ни с именем Евграф, ни с таким отчеством. Давать подобные *старорежимные* имена при советской власти, тем более носить их – это было в некотором роде подвигом. Я отношусь к людям,

несущим в своих именах следы того пожара, что так беспощадно прогулялся по родному отечеству, с заведомой симпатией.

– Простите великодушно, если звоню не вовремя, – с интонацией английского лорда, спеченного со старорежимным русским интеллигентом, витиевато приступаю я к представлению. – Это Леонид Николаевич Поспелов. Если вам сейчас неудобно...

Я не успеваю договорить фразы – мой собеседник перебивает меня, и приветливость в его голосе становится адресной:

– Что вы, Леонид Михайлович, замечательно, что позвонили. Я понимаю, нам надо встретиться?

Встретиться? Вот не думал. Значит, Балерунья уже распорядилась за меня завязкой сюжета.

– Да, надо встретиться, – говорю я.

– Давайте через час. Как раз ровно в час, – предлагает мне развитие сюжета Евгений Евграфович. – В Александровском саду. Около грота «Руины». Представляете где?

Грот «Руины». Под Средней Арсенальной башней. Чудесное местечко для встречи чиновника кремлевской администрации и поэта. Самое то.

– Представляю, – говорю я.

– Успеете добраться?

Успею ли! Кровь из носу. Прилечу, прибегу, приползу – по земле, по воздуху, методом телепортации!

– Тогда до встречи, – обласкивает меня коротким благожелательным смешком Евгений Евграфович, прежде чем уйти с линии.

Лорд, отшвырнув от себя в лицо дворецкому чашку с кофе и вскочив с кресла, превращается в ошалевшую дворовую собаку. Что надеть на встречу? Нужно выглядеть достойно. Чтобы на тебе словно бы знак качества, чтобы чувствовать уважение к себе и распространять его вокруг себя...

Но в конце концов, пометавшись по комнате и вытряхнув на постель половину своего шкафа, я одеваюсь как обычно: черные джинсы, красная рубашка в белую полоску, коричневый мягкий блейзер. Обычные, много раз чиненные ботинки, обычная моя куртка с Черкизовского рынка – ничего другого у меня нет. И только на голову – уже совсем перед тем, как выйти, – я натягиваю темно-синий берет. Я всегда прибегаю к этому трюку, когда мне нужно выглядеть не совсем обычно. Береты сейчас никто не носит, и с беретом на голове ты сразу являешь себя человеком художественного мира.

Когда я, припарковав машину чуть ли не у консерватории на Большой Никитской, бывшей Герцена, влетаю в Александровский сад, у колонн грота под Средней Арсенальной, явно кого-то поджидая, уже прохаживается человек – в длинном темно-синем, как мой берет, кашемировом приталенном пальто и с длинным, почти до колен, выпущенным одним концом поверх пальто вишневым шарфом. У кого вид более художественный, у меня или у него, – это еще можно поспорить. При моем приближении человек останавливается и устремляет на меня пристальный взгляд. Ему около сорока, чуть за сорок, бритое полное лицо с южно-славянскими чертами, пегие «гвардейские» усы от ноздрей к углам рта, такие усы идут скуластым, твердо-костным лицам, придавая человеку необыкновенно бравый, мужской вид, его лицу такие усы противопоказаны – он производит с ними впечатление человека-кота. Что же Балерунья, при ее вкусе, не подскажет ему, что такие усы ему противопоказаны? Если это, конечно, он. А это почти наверняка он.

– Евгений Евграфович? – спрашиваю я, подходя.

– Леонид Михалыч? – ответно вопрошает он, словно давая отзыв на произнесенный мною пароль.

Мы пожимаем руки, глядя друг другу в глаза с таким выражением, будто мы два шпиона, каждый знает, кто он, но не выдает себя и хочет при этом выведать у другого как можно больше. Я-то точно знаю, что он любовник Балеруны, был – это наверняка, невозможно с уверенностью сказать лишь про сейчас, а вот насчет меня он не может сказать с твердостью ни того, ни другого: ее амплуа – *брат*, с этим ее амплуа он лишь и знаком, и то, что она попросила за меня, – это она тоже *берет*, вот только почему?

– Приношу свои извинения, что не там, – с тонкой улыбкой кивает Евгений Евграфович в сторону кремлевской стены. – Там бы, конечно, удобней. Кофейку бы заказали, сушечек наших фирменных. Но, к сожалению... – он разводит руками.

– Сложно заказать пропуск? – понимающе говорю я.

– Да нет, пропуск – какие сложности, вы же не иностранец. Прослушка, – объясняюще произносит он через паузу. – Все прослушивается, никакого конфиденса. Что, в общем, правильно, – добавляет он тут же.

– Не имею мнения, – отзываюсь я, полагая себя обязанным что-то ответить.

– Правильно, правильно, – словно я оспорил его утверждение, говорит Евгений Евграфович. – Государева служба – она государева служба. Это не окорочками торговать. В России выше нее ничего нет.

– Выше – только кремлевские звезды, – выдаю я глубокомысленный комментарий.

– Однако и они государевы, – вскидывает он указательный палец. И произносит после короткой паузы: – Значит, вы бы хотели с нами посотрудничать...

Понятия не имею, что бы я хотел с ними. Но я согласно киваю:

– Да, есть желание.

– Есть желание... – тянет он. И неожиданно, резко сменив тон, вопрошает: – А не можете мне, Леонид Михалыч, в одной вещи? Мне нужен свитер себе купить, а все не получается: надо бы, чтобы кто-то со стороны глянул... Сходим со мной в «Брюхо Москвы»?

– «Брюхо Москвы»? – удивленно переспрашиваю я. – Это что такое?

– А! – довольно восклицает он. – Вы не понимаете. Знаете, в Париже есть подземный торговый центр, на месте бывшего рынка, «Чрево Парижа» его называют? Бывали?

– Не бывал, – отзываюсь я. Не был я ни в Париже, ни в Риме, ни в Лондоне, где по нынешним временам всякому уважающему себя человеку должно побывать непременно образом. – Но знаю.

– Ну вот, а у нас то, что под Манежной площадью, – «Брюхо Москвы». Так поможете?

Естественно, а как же. Я отзываюсь согласием. Даже как бы и с удовольствием. А что мне делать еще?

Мы с Евгением Евграфовичем – поглядеть со стороны, два добрых товарища – пересекаем Александровский сад, поднимаемся вверх на Манежную площадь, пересекаем поднятую из трубы вверх Неглинку в лубочных зверюшках главного скульптора страны Церетели и заходим в залитое искусственным светом, сверкающее отполированным мрамором и стеклом подземное царство Мамоны, возведенное на месте многотысячных митингов шестнадцатилетней давности, чтобы они никогда больше здесь не проводились.

Евгений Евграфович оказывается придирчивым покупателем. У одного подходящего свитера все же не такой вырез, у другого все же не такой цвет, у третьего – вроде бы все так, но он тесноват под мышками, в нем будет недостаточно комфортно.

– А я люблю, чтоб было комфортно. – Евгений Евграфович совсем освоился со мной и ведет себя так, будто мы знакомы сто лет. – Комфорт в жизни – главное качество, по которому ее должно оценивать. Вы согласны?

О, разумеется, разумеется, я во всем с ним согласен, как же иначе.

Я уже слетаю с катушек, когда наконец Евгений Евграфович решает купить свитер. Продащица, едва не танцующая от удовольствия, что посетители покидают ее магазинчик, оста-

вив в кассе деньги, укладывает свитер в хрустящий фирменный пакет, вручает его праздничным движением Евгению Евграфовичу, и тот, повеселевший не меньше продавщицы, когда мы выходим из магазина на вымощенную блестящим кафелем променадную дорожку царства Мамоны, предлагает мне:

– А что, не отметить ли нам покупку? Давайте присядем здесь в какой-нибудь забега-ловке, хлопнем по чашечке кофе и поговорим. Как вы, не против?

– Замечательная идея, – говорю я.

Мы спускаемся на нижний этаж, где расположены «забегаловки», и по прошествии пяти минут сидим за пластмассовым столиком, положив на свободные стулья около стола свою верхнюю одежду, – не столько потому, что так жарко, а для того, чтобы к нам никто не подсел.

– Да, так вот, Леонид Михалыч, – сделав глоток кофе, ставит пластмассовый стаканчик на стол Евгений Евграфович. – Возвращаясь к нашим баранам... В настоящее время есть потребность в свежем аналитическом взгляде на электорат старшего среднего возраста. Не пенсионный и даже не предпенсионный, а вот такой – старшего среднего возраста, засредний, назовем его так. Готовы вы написать записку?

Я прикидываю, что за финансовые перспективы распахиваются передо мной, возьмись я излагать свои взгляды на этот «засредний» электорат. Похоже, Балерунья не поняла меня – что мне требуется. Никаких роскошных перспектив такая аналитическая записка не обещает. Было дело, я писал что-то подобное для Министерства образования, заработал – это конечно, но к решению своих финансовых проблем не приблизился ни на шаг.

– Мне это будет интересно? – спрашиваю я Евгения Евграфовича осторожно.

Разочарованность, что звучит в моем голосе, видимо, столь явна, что он всхлывает и звучно бьет ладонь о ладонь.

– Вам это будет интересно, интересно, – говорит он потом. – Но, безусловно, – он делает паузу, – у работодателя тоже есть свой интерес. Я полагаю, вы понимаете?

— Сколько? — спрашиваю я.

– Фифти-фифти, – отзывается он, глядя на меня с ясной полуулыбкой.

Ого. Пятьдесят процентов. Хорош откат. Это или сумма должна быть запредельна, так что мне за глаза достаточно и ее половины, или же столь ничтожна, что меньше половины брать ему нет смысла.

– И что они, эти фифти? – спрашиваю я, стараясь не дрогнуть ни единым мускулом – будто это для меня обычное дело, вести торг вроде этого.

Цифра на листке с проставленным за нею значком доллара повергает меня в восторженное изумление. Смешанное, однако, с неверием. Я невольно тянусь к листку, – он отдергивает руку, не позволяя мне взять листок. Следом за чем рвет его на клочки и ссыпает те в боковой карман.

– Я полагаю, для любого института это будет нормально, – говорит он.

– При чем здесь институт? – недоумеваю я.

– Ну, или фонд, – говорит он.

— А при чем тут фонд? — я уже настораживаюсь.

Евгений Евграфович, взяв со стола стаканчик с кофе, отхлебывает из него.

– А у вас что, ничего не учреждено? Мы даем задание организациям. Мы не можем давать такие ответственные задания частным лицам.

Это катастрофа. Какой фонд, какой институт? Служба Аполлону ни по какому официальному ведомству не проходит, а где состою и числюсь – это так, только плачу членские взносы, в любом случае я представляю только себя.

– Но я частное лицо, – произношу я потерянно.

Евгений Евграфович, делая очередной глоток кофе, пожимает плечами:

– Значит, учреждайте. Частному лицу мы не можем.

– Учредить институт? – вопрошаю я. – Но это же такое дело...

Теперь изумлением расцветивается лицо Евгения Евграфовича.

– Ну, Леонид Михалыч! Так отстать от жизни. Не учебный же институт. – У него вырывается хохоток. – Вы один и будете этим институтом. Назовите «Институт проблем постсоциалистического периода». Или еще как-нибудь. Главное, иметь регистрацию, юридический адрес, счет в банке. Есть – начинаем сотрудничество.

Мы поднимаемся из «Брюха Москвы» на ее грудь – Манежную площадь, – и Евгений Евграфович, весь убогостроение, подает мне руку:

– Значит, Леонид Михалыч, как учреждаетесь – звоните мне. Подписываем с вами договор, в смысле, с вашим институтом, – из него снова вырывается хохоток, – и вперед!

Я остаюсь на Манежной один. Поле ее взгорблено посередине стеклянным пузырем крыши уходящего в глубь земли «Брюха Москвы», и стоящее на противоположном конце площади похожее на печатный пряник здание «Националя» видно лишь верхними этажами – ни следа от впечатления, которое оно производило в советские времена. Это впечатление осталось лишь в памяти. Как лишь в памяти прежняя Манежная площадь – просторное пространство голого асфальта, залитое до краев плотной людской толпой. Нет, не всегда; обычно она была пустыня. Но в те незабвенные последние годы советской эпохи она принимала на своем просторе целых пятьдесят-семьдесят тысяч демонстрантов. Все, больше этого не будет – никаких демонстраций, никаких митингов. Теперь вместо земной тверди под ногами – бетонные перекрытия «Брюха», скрывающие собой циклопических размеров котлован, и, как ни крепки, сравниться крепостью с земной твердью никак не могут, – собираться здесь теперь просто опасно. Новая власть оказалась пораскистее умом, чем прежняя. Странное дело: всякая новая власть в России оказывается дальновиднее, умнее-ловчее, чем прежняя, но не в коня корм – лучше от того жить не становится. Где она, свобода, которой так жаждали? Заключение в клетке, не похожей на прежнюю, всё заключение. Как может быть *свободен* человек, когда ему нужно зарабатывать на жизнь деньги, а заработать их он может, только выставив на продажу свои умения и таланты? Продающий зависит от прихотей покупателя, как и покупатель от честности продавца. Будь я свободен, разве бы стал я таскаться по этому «Брюху», отыскивая подходящий свитер для незнакомого мне до нынешнего дня Евгения Евграфовича? Тоже мне мечта жизни: помогать кремлевским чиновникам покупать свитера. Знать бы в ту, собиравшую пятидесятитысячные митинги пору, что клетка всего лишь может быть теснее или просторнее, и все. Иногда, конечно, она может быть очень просторна, так что не достанешь до ее пределов и взглядом, но пределы эти есть непременно, и когда-нибудь жизнь неизбежно притиснет тебя к ее прутьям – по-другому не бывает. Истина, на обретение которой ушла жизнь.

Влажно веющий в лицо ветерок совершенно по-весеннему свеж. Дождя сегодня нет, только асфальт мокр и в лужах, небо хотя и низко, но день не серый, в свете его сквозит прозрачная ясность – истинно апрель, и тепло невероятно; в такой день гулять и гулять, наслаждаясь чудом европейской зимы в самом центре декабрьской Московии. Но я это только отмечаю сознанием – что наслаждаясь, а благодати во мне нет ни капли. Какую благодать может испытывать Лаокоон, почти задушенный не знающими жалости змеями. Разве я, когда пускался на дебют, мог предположить, что придется жить в клетке таких размеров – ни повернуться, ни сесть, ни лечь. Ау, свобода, ау, где ты?! Не дает ответа...

Из этих моих размышлений меня извлекает звонок мобильного. Я обнаруживаю себя на Тверской, напротив Центрального телеграфа, в начале Камергерского, – как меня сюда привели ноги, я и не заметил. Ко всему тому я еще стою и созерцаю поставленного в угол между двумя домами дохлого интеллигента Чехова, который не мог бы написать ни «Вишневого сада», ни «Скрипки Ротшильда», ни «Письма ученому соседу». Надо же было додуматься изобразить этого красавца, любимца женщин, при последнем издыхании, когда он не мог уже не только ничего сочинять, но, наверно, и просто держать ручку в руках.

Номер, что требует меня с дисплея мобильного, я знаю наизусть. Нет, не наизусть. Он вбит мне в макушку кованым треугольным гвоздем, и по самую шляпку. Это *она*. Евдокия ее имя.

Да, уж если быть честным перед самим собой, причина психоза, что выворачивает меня наружу кишками, не только мои многочисленные дети. А и этот ребенок. Почти ровня моей дочери. Ребенок, конечно. Иметь любовницей двадцатидвухлетнего ребенка, для которого ты бог Саваоф, и оказаться голоштанником с пенсией *по старости*, на которую не прокормиться и воробью, – это свалиться в ее глазах с небес на землю, разбившись вдребезги.

Я нажимаю кнопку приема.

– Привет, моя радость, – говорю я.

О, это не слова. Кто она еще как не моя радость. Иметь любовницу моложе тебя в три раза и быть для нее не старичком денежным мешком, а любимым – это будешь ценить, трястись над этими отношениями скупым рыцарем над златом. Хотя, конечно, вот оно, еще одно преимущество человека свободной профессии: у тебя нет возраста. Во всяком случае, пока ты не сел на пенсию *по старости*. Чувствуешь себя на тридцать – тридцать тебе и есть.

– Привет, Лёничик, – отвечает мне в трубке моя радость. – Ты, наверно, хочешь меня поздравить?

Это в ее манере – поставить тебя в положение ее должника и потребовать возвращения долга, когда ты об этом долге – ни сном ни духом.

– Сдавала на права? – подумав немного, неуверенно спрашиваю я.

– Именно! – одобрительно отзывается она. (Возврат долга мне засчитан.) – И сдала.

– Так у тебя же какой учитель был, – говорю я, намекая на то, что и она у меня кое в каком в долгу, причем реальном.

– Ха! – говорит она. – Твои уроки бесценны. Но, представь, они не понадобились.

– Как так? – я чувствую укол уязвленности.

– Так! – восклицает моя радость. – Помнишь, кто-то мне давал совет заплатить по полной программе? Я это и сделала. И знаешь, кто на экзамене по вождению нажимал за меня педали?

Педали за нее на экзамене по вождению нажимал, оказывается, инструктор рядом, а она только рулила, причем по его команде.

– Что же, такие события, как сегодняшнее, следует отмечать, – говорю я.

– Разве кто против? – следует мне ответом. – Куда ты хочешь меня пригласить?

Вот она, разница в возрасте. Мне на самом деле не хочется никуда. Однако моя радость в том возрасте, когда без понтов нельзя, положенные ритуалы должны быть соблюдены непременно.

– Давай полопаем в «Ист буфете», – предлагаю я. «Ист буфет» – это и недорого, и сердито, да ей по молодости и нравятся такие места. – Ты где?

Оказывается, мы в двух шагах друг от друга. Она на Моховой, у себя на факультете, заехала после экзамена по вождению что-то у кого-то взять-отдать-получить, и вот свободна и позвонила мне.

– Жди меня там у Ломоносова, – велю я.

Спустившись в переход, я пересекаю под землей Тверскую и, поднявшись наверх, иду от Центрального телеграфа вниз, обратно к Манежной, чтобы проследовать к старому зданию университета, в котором когда-то он умещался весь и где теперь только факультет журналистики. По дороге я звоню сыну. Не знаешь ли случаем, спрашиваю я, как учредить вот такую ахинятину – то ли институт, то ли фонд, не мышпонка, не лягушку, а неведому зверушку. Понял-понял-понял, с удовольствием перебивает меня сын. Он сегодня занял у меня денег, и ему приятно ответно услужить мне. Конечно, он знает. Только не надо заниматься этим самому, потому что это геморрой, следует перепоручить дело специальной фирме. Он даже может порекомендовать мне одну такую, всего пятьсот долларов – и через полторы недели я

получаю полный пакет документов. Пока разговор не доходит до пятисот долларов, мне все нравится. Но пятсот долларов быют меня по крыше внезапно опустившимся шлагбаумом. Ладно, перезвоню позже, завершаю я разговор.

Между тем я уже почти у цели. И сквозь чугунные прутья изгороди, отгораживающей здание факультета от ревушей машинами улицы, около памятника Ломоносову во дворе, вижу ожидающую меня мою радость. Здесь, в этом старом университетском здании, у нас все и началось. Я тут выступал в их большой, кажется, в советские времена она называлась Коммунистической, центральной аудитории, исполняющей роль актового зала. Вернее, выступал не я, а зван был Савёл со своей группой, вот в компании Ромки и их солиста Паши по прозвищу Книжник он и блистал, я был приглашен Савёлом в пристяжку, для солидности. Мне была отведена роль даже не второго, а десятого плана, но получилось, что когда пришла пора сказать свои полтора слова мне, меня вдруг стали заваливать вопросами – о Рубцове, об Окуджаве, даже о Высоцком, с которым мы только однажды разговаривали по телефону, – и вместо трех-четырех минут, что были запланированы Савёлом на мое появление в свете ramпы, я протанцевал под прожекторами целые полчаса. И вот когда я, распушив хвост, выделял свои па, я увидел устремленные на меня из безликой студенческой массы глаза. У меня так это и стоит в памяти, и я не перестаю удивляться, как это было возможно? Хотя такое случилось второй раз в моей жизни. Но тогда народу было куда как меньше. А тут на меня смотрело с поднимающихся амфитеатром скамей несколько сотен глаз, и она сидела не где-нибудь впереди, а в самой гуще, однако же я увидел ее глаза – так она смотрела. Словно вокруг была темнота, ни зги не видно, и в этой темноте – два горящих огня. Они мешали мне, сбивали с мысли, я старался не глядеть в их сторону – и глядел; по сути, как увидел их, отвечая на сыпавшиеся вопросы, я отвечал только им, только для нее. Хотя сама она не задала мне ни одного вопроса.

Она задала мне вопрос, когда наше шоу было завершено. Я уже собрался потечь к выходу, но был остановлен прозвучавшим за спиной голосом, в котором тотчас, хотя слышал его впервые, опознал ее: «Леонид Михайлович, простите, можно вас?» И после, как обернулся к ней: «Леонид Михайлович, а мы бы не могли специально встретиться? Я пишу курсовую, и мне нужно задать вам несколько вопросов, которые бы разрешили мои затруднения».

По тому, как она стояла передо мной – с видом самой скромности и самоумаления, а на самом деле едва удерживая в себе рвущееся наружу осознание своей высокой цены, как улыбалась, я сразу увидел – она «с кислинкой», так сказал об этом женском типе в «Факультете ненужных вещей» Домбровский. Никакой курсовой она не писала, про курсовую – это была ложь, повод, чтоб подойти. Не я склеил ее, она меня. Оказывается, в тинейджерстве она была фанаткой Савёловой группы, и особенно она балдела от «Песенки стрельцов», и вот автор слов предстал перед нею и оказался вполне отвечающим тому образу, что безотчетно жил в ее сознании...

– Салют! – видит она меня входящим в калитку решетчатой изгороди, машет рукой, идет мне навстречу и, подойдя, целует быстрым приветственным поцелуем в губы. Ничуть не стесняясь моей пробитой сединой бороды, печати годов на лице, при том, что мы тут во дворе сейчас не одни и на нас, конечно, устремлен не один взгляд.

Ради Евдокии я, наверно, готов расстаться с Балеруньей. Но я так вит-перевит с Балеруньей корнями, что у меня с нею уже одна корневая система, отдери меня от нее – я останусь без питательных соков, и мне остается только молить Бога, чтобы Евдокия о ней ничего не узнала.

– Слушай, а ты за автомобильными делами не запустила университетские? – напускаю я на себя озабоченно-строгий вид, стремясь поскорее избавиться от мысли о Балерунье, словно оттого что подумал о ней, мои грехи каким-то непостижимым образом могут незамедлительно вылезти наружу.

– Отстань со своим университетом. Не твое дело, – с милой улыбкой отбρίζει меня Евдокия.

В молодости такое обращение с собой я бы не спустил, будь даже влюблен по самую макушку. Теперь меня это ничуть не трогает. В моем отношении к Евдокии и в самом деле есть нечто родительское, ну а она, соответственно, ведет себя со мной, как если б была дочкой, живущей взрослой, самостоятельной жизнью. Есть круг ее жизни, куда я опущен, и есть круг, куда доступ мне запрещен. Так же, как и у меня с нею.

Мы сворачиваем с Моховой на Большую Никитскую, бывшую Герцена, и устремляемся вверх по ней к консерватории, неподалеку от которой припарковано мое корыто. В гладкой глухой стене университетского здания – одинокая дверь, вход в студенческую церковь, храм Святой Татьяны. В этом храме, в бытность его студенческим театром, я, было дело, выступал со сцены. Но для Евдокии это уже дела давно минувших дней, преданья старины глубокой, она уже не знала здесь никакого театра, для нее здесь всегда был храм. В который, впрочем, она разве что заглянула разок.

– А что это ты надел берет? – спрашивает вдруг она. – Что-то я не помню, чтобы я тебя в нем видела.

– Вот увидела.

Она некоторое время молчит, глядя на меня сбоку оценивающим взглядом. После чего выдает:

– По-моему, он тебе не идет.

Я тотчас стягиваю с себя берет и заталкиваю его в карман куртки.

– Чего не сделаешь с любимым беретом ради любимой.

Это не совсем шутка: хотя зима и европейская, но я не приучен ходить по такой погоде без головного убора и едва ли уже приучусь.

– Я более любимая, да? – между тем с радостно-довольным видом берет меня Евдокия обеими руками за локоть.

Забавляя себя таким разговором, мы доходим до моего корыта, оно верно ждет меня и с убоготворенным скрипом принимает нас на свои сиденья.

– Почему ты не купишь что-нибудь поновее? – накидывая на себя ремень, спрашивает Евдокия.

– Миллионеры и художники имеют право на рваные джинсы, – отвечаю я ей.

– Машина – это не джинсы. Машина не должна быть рваной. Машина – это конь. Конь должен быть сыт, ухожен, блеснуть, как атлас. Иначе какой из него конь.

– У моего коня шестьдесят лошадиных сил, и этих его достоинств мне достаточно, – парирую я, заводя двигатель.

Она и понятия не имеет, что мне и на эту лошадь с трудом хватает овса, а когда захромает, показать ее фельдшеру – целая проблема.

«Ист буфет», в который мы едем, находится на «Менделеевской» – та же «Новослободская», только на радиальной линии. Это совсем недалеко, но Москва теперь так забита машинами, что мы тащимся дотуда, затыкаясь в пробках, целые полчаса.

Обедать в этом заведении в будни в середине дня – одна радость для кармана: за сто девяносто девять рублей нагретаешь полную тарелку разнообразной, довольно неплохо приготовленной еды, унесешь – так и целую гору, а к тому полагается пиала какого-нибудь супа, а потом еще можно сделать хоть десять заходов за фруктовым мороженым, после принятия которого все у тебя в желудке укладывается таким образом, будто ты и не нагружился, как какой-нибудь «БелАЗ». Отмечать сданный экзамен я беру для Евдокии бокал красного вина, себе пятьдесят граммов коньяка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.